

М И Х А И Л
Ш О Л О Х О В



М а л о е
с о б р а н и е
с о ч и н е н и й

Михаил Шолохов

Малое собрание сочинений

«Азбука-Аттикус»

1924-1969

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Шолохов М. А.

Малое собрание сочинений / М. А. Шолохов — «Азбука-Аттикус», 1924-1969

ISBN 978-5-389-18395-7

Михаил Александрович Шолохов – один из самых выдающихся писателей русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии, автор романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина». В настоящее издание вошли ранние рассказы 1920-х гг., впоследствии объединенные в сборники: «Донские рассказы», «Лазоревая степь», «О Колчаке, крапиве и прочем», а также произведения, посвященные Великой Отечественной войне: «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Наука о ненависти», «Очерки военных лет» – возможно, наиболее пронзительные, яркие, трагичные и вместе с тем жизнеутверждающие тексты, созданные на тему войны не только в отечественной, но и в мировой литературе. «Главный герой его произведений, – писал о Шолохове финский писатель Мартти Ларни, – сама правда... Жизнь он видит и воспринимает как реалистическую драму, в которой главная роль отведена человечности. В этом одно из объяснений его мировой славы».

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-18395-7

© Шолохов М. А., 1924-1969

© Азбука-Аттикус, 1924-1969

Содержание

Донские рассказы	6
Родинка	6
Пастух	12
Продкомиссар	19
Шибалково семя	23
Илюха	26
Алешкино сердце	30
Бахчевник	39
Путь-дороженька	47
Часть первая	47
Часть вторая	60
Нахаленок	73
Коловерть	89
Семейный человек	99
Председатель Реввоенсовета республики	103
Кривая стежка	106
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Михаил Александрович Шолохов

Малое собрание сочинений

© М. А. Шолохов (наследники), 2015

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Донские рассказы

Родинка

I

На столе гильзы патронные, пахнувшие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона, сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе, – анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупно рассказывает: *Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.*

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: *18 лет.*

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

– Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, – говорят шутя в эскадроне, – а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистой графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он – казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

– За гриву держись, сынок! – кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нынешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженую голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

– Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка – это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

– Брешешь ты, чудак! Я с малства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он – счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни

тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

– Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка:

– Вот он я! Ну, чего там еще?

– Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

– Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, потом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом – на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленевшими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадром на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утопанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, сочившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевиным ведет атаман банду – полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ними вназирку – отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стремянах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено,

деды и прадеды пили, и на гербе казаков Области войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и – банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги¹ степной. Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет – дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие, разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышинный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, а бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся – из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

– Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрашивая корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

– Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

– Мы – красные, дедок... Ты нас не бойся, – миролюбиво просипел атаман. – Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел, вчера отряд тут проходил?

– Были какие-то.

– Куда они пошли, дедушка?

– А холера их ведает!

– У тебя на мельнице никто из них не остался?

¹ Музга – озерко, болотце. (Здесь и далее примеч. автора.)

– Нетути, – сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

– погоди, старик. – Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: – Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! – Споткнулся, повод роняя из рук. – Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

– Нетути, – сказал Лукич, поглядывая в сторону.

– А в этом амбаре что?

– Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

– А ну, пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень.

– Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

– Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

– По-твоему, нехай наши кони с голодудохнут? Ты что же это – за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

– Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? – Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

– Говори: красные тебе любы?

– Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня, – голосил старик, ноги атамановы обнимая.

– Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жуёт песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

– Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыпят и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мгlistой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

– Кто идет? – окрик тревожный в тишине.

– Я это... – шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

– Кто такой? Что – пропуск? По каким делам шляешься?

– Мельник я... С водянки тутошней. По надобностям в хутор иду.

– Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди... – крикнул один, наезжая лошастью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

– За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

– Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:
– Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

– Родимый, свои это, а я думал – опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запомнил?..

– Ну, что скажешь?

– А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коням!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

– А сейчас они где?

– Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.

– Скажи, чтоб седлали!.. – С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

– Как пойдем в атаку – лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлах дубков на шляху показались конные – по четыре в ряд, тачанки в середине.

– Намётом! – крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

* * *

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! – падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

– Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! – кричал атаман, привстав на стремях.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая построшки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

– Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахую!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженой восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебежал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает», – обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, пашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

– Сынок!.. Николушка!.. Родной! Кровинушка моя... – Чернея, крикнул: – Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнувшие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынувшие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фыркание и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

1924

Пастух

I

Из степи, бурой, выжженной солнцем, с солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода – шестнадцать суток дул горячий ветер.

Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колодцев, густо просыпанных вдоль шляха, жилы пересохли; а хлебный колос, еще не выметавшийся из трубки, квело поблек, завял, к земле нагнулся, сгорбавшись по-стариковски.

В полдень по хутору задремавшему – медные всплески колокольного звона.

Жарко. Тишина. Лишь вдоль плетней шаркают ноги – пылищу гребут, да костыли дедов по кочкам выстукивают – дорогу шупают.

На хуторское собрание звонят. В повестке дня – наем пастуха.

В исполкоме – жужжанье голосов. Дым табачный.

Председатель постучал огрызком карандаша по столу:

– Граждане, старый пастух отказался стеречь табун, говорит, мол, плата несходная. Мы, исполком, предлагаем нанять Фролова Григория. Нашевский он рожак, сирота, комсомолист... Отец его, как известно вам, чеботарь был. Живет он с сестрой, и пропитание у них нету. Думаю, граждане, вы войдете в такое положение и наймете его стеречь табун.

Старик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал.

– Нам этого невозможно... Табун здоровый, а он какой есть пастух!.. Стеречь надо в отводе, потому вблизи кормов нету, а его дело непривычное. К осени и половины телят недосчитаемся...

Игнат-мельник, старичишка мудреный, ехидным голоском медовым загнусавил:

– Пастуха мы и без сполкома найдем, дело нас одних касается... А человека надо выбрать старого, надежного и до скотины обходительного...

– Правильно, дедушка...

– Старика наймете, граждане, так у него скорей пропадут теляты... Времена ноне не те, воровство везде огромное... – Это председатель сказал настоисто так и выжидательно; а тут сзади поддерживали:

– Старый негож... Вы возьмите во внимание, что это не коровы, а теляты-летошники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун – поди собери, дедок побежит и потроха растеряет...

Смех перекатами, а дед Игнат свое сзади вполголоса:

– Коммунисты тут ни при чем... С молитвой надо, а не абы как... – И лысину погладил вредный старичишка.

Но тут уж председатель со всей строгостью:

– Прошу, гражданин, без разных выходов... За такие... подобные... с собрания буду удалять...

Зарею, когда из труб клочьями мазаной ваты дым ползет и стелется низко на площади, собрал Григорий табун в полтораста голов и погнал через хутор на бугор седой и неприветливый.

Степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор; свистят сурки протяжно и настороженно; из логов с травой приземистой стрепета взлетают, посеребренным опереньем сверкая.

Табун спокоен. По земляной морщинистой коре дробным дождем выцокивают раздвоенные копыта телят.

Рядом с Григорием шагает Дунятка – сестра-подпасок. Смеются у нее щеки загоревшие, веснушчатые, глаза, губы, вся смеется, потому что на Красную горку пошла ей всего-навсего семнадцатая весна, а в семнадцать лет все распотешным таким кажется: и насупленное лицо брата, и телята лопоухие, на ходу пережевывающие бурьянок, и даже смешно, что второй день нет у них ни куска хлеба.

А Григорий не смеется. Под картузом обветшавшим у Григория лоб крутой, с морщинами поперечными, и глаза усталые, будто прожил он куда больше девятнадцати лет.

Спокойно идет табун обочь дороги, рассыпавшись пятнистой валкой.

Григорий свистнул на оставших телят и к Дунятке повернулся:

– Заработаем, Дунь, хлеба к осени, а там в город поедem. Я на рабфак поступлю и тебя куда-нибудь пристрою... Может, тоже на какое ученье... В городе, Дунятка, книжек много и хлеб едят чистый, без травы, не так, как у нас.

– А денег откель возьмем... ехать-то?

– Чудачка ты... Хлебом заплатят нам двадцать пудов, ну вот и деньги... Продадим по целковому за пуд, потом пшено продадим, кизяки.

Посреди дороги остановился Григорий, кнутовищем в пыли чертит, высчитывает.

– Гриша, чего мы есть будем? Хлеба ничуть нету...

– У меня в сумке кусок пышки черствой остался.

– Ныне съедим, а завтра как же?

– Завтра приедут с хутора и привезут муки... Председатель обещался...

Жарит полдневное солнце. У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла.

Идет табун беспокойно, жалят телят овода и мухи, в воздухе нагретом виснет рев скота и зуденье оводов.

К вечеру, перед закатом солнца, подогнали табун к базу. Неподалеку пруд и шалаш с соломой, от дождей перепревшей.

Григорий обогнал табун рысью. Тяжело подбежал к базу, воротца хворостяные отворил.

Телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот.

II

На кургане, торчавшем за прудом ядреной горошиной, слепили новый шалаш. Стенки пометом обмазали, верх бурьяном Григорий накрыл.

На другой день председатель приехал верхом. Привез полпуда муки кукурузной и сумку пшена.

Присел, закуривая, в холодке.

– Парень ты хороший, Григорий. Вот достережешь табун, а осенью поедem с тобой в округ. Может, оттель какими способами поедешь учиться... Знакомый есть там у меня из народа, пособит...

Пунцовел Григорий от радости и, провожая председателя, стремя ему держал и руку сжимал крепко. Долго глядел вслед курчавым завиткам пыли, стелившимся из-под лошадиных копыт.

Степь, иссохшая, с чахоточным румянцем зорь, в полдень задыхалась от зноя. Лежа на спине, смотрел Григорий на бугор, задернутый тающей просинью, и казалось ему, что степь живая и трудно ей под тяжестью неизмеримой поселков, станиц, городов. Казалось, что в прерывистом дыханье колышется почва, а где-то внизу, под толстыми пластами пород, бьется и мечется иная, неведомая жизнь.

И среди белого дня становилось жутко.

Взглядом мерил неизмеренные ряды бугров, смотрел на струистое марево, на табун, испятнавший коричневую траву, думал, что от мира далеко отрезан, будто ломоть хлеба.

Вечером под воскресенье загнал Григорий табун на баз. Дунятка у шалаша огонь развела, кашу варила из пшена и пахучего воробьиного щавеля.

Григорий к огню подсел, сказал, мешая кнutowищем кизяки духовитые:

– Гришакина телка захворала. Надо бы хозяину переказать...

– Может, мне на хутор пойтить?.. – спросила Дунятка, стараясь казаться равнодушной.

– Не надо. Табун не устерегу один... – Улыбнулся. – По людям заскучала, а?

– Соскучилась, Гриша, родненький... Месяц живем в степи и только раз человека видели.

Тут если пожить лето, так и гутарить разучишься...

– Терпи, Дунь... Осенью в город уедем. Будем учиться с тобой, а посла, как выучимся, вернемся сюда. По-ученому землю зачнем обрабатывать, а то ить темень у нас тут и народ спит... Неграмотные все... книжек нету...

– Нас с тобой не примут в ученье... Мы тоже темные...

– Нет, примут. Я зимою, как ходил в станицу, у секретаря ячейки читал книжку Ленина. Там сказано, что власть – пролетариям, и про ученье прописано: что, мол, учиться должны, которые из бедных. – Гришка на колени привстал, на щеках его заплесали медные отблески света.

– Нам учиться надо, чтобы уметь управлять нашевской республикой. В городах – там власть рабочие держут, а у нас председатель станицы – кулак, и по хуторам председатели – богатеи...

– Я бы, Гриша, полы мыла, стирала, зарабатывала, а ты учился...

Кизяки тлеют, дымясь и вспыхивая. Степь молчит, полусонная.

III

С милиционером, ехавшим в округ, переказывал Григорию секретарь ячейки Политов в станицу прийти.

До света вышел Григорий и к обеду с бугра увидел колокольню и домишки, покрытые соломой и жестью. Волоча намозоленные ноги, добрел до площади.

Клуб в поповском доме. По новым дорожкам, пахнущим свежей соломой, вошел в просторную комнату.

От ставней закрытых – полутемно. У окна Политов рубанком орудует – раму мастерит.

– Слыхал, брат, слыхал... – Улыбнулся, подавая вспотевшую руку. – Ну, ничего не попишешь! Я справлялся в округе: там на маслобойный завод ребята требовались, оказывается, уже набрали на двенадцать человек больше, чем надо... Постерегешь табун, а осенью отправим тебя в ученье.

– Тут хоть бы эта работа была... Кулаки хуторные страсть как не хотели меня в пастухи... Мол, комсомолец – безбожник, без молитвы будет стеречь... – смеется устало Григорий.

Политов рукавом смел стружки и сел на подоконник, осматривая Григория из-под бровей, нахмуренных и мокрых от пота.

– Ты, Гриша, худющий стал... Как у тебя насчет жратвы?

– Кормлюсь.

Помолчали.

– Ну, пойдем ко мне. Литературы свежей тебе дам: из округа получили газеты и книжки.

Шли по улице, уткнувшейся в кладбище. В серых ворохах золы купались куры, где-то скрипел колодезный журавль, да тягучая тишина в ушах звенела.

– Ты оставайся нынче. Собрание будет. Ребята уже заикались по тебе: «Где Гришка, да как, да чего?» Повидаешь ребят... Я нынче доклад о международном положении делаю... Переночуешь у меня, а завтра пойдешь. Ладно?

– Мне ночевать нельзя. Дунятка одна табун не устережет. На собрании побуду, а как кончится – ночью пойду.

У Политова в сенцах прохладно.

Сладко пахнет сушеными яблоками, а от хомутов и шлей, развешанных по стенам, – лошадиным потом. В углу – кадка с квасом, и рядом кривобокая кровать.

– Вот мой угол: в хате жарко...

Нагнулся Политов, из-под холста бережно вытянул давнишние номера «Правды» и две книжки.

Сунул Григорию в руки и излатанный мешок растопырил:

– Держи...

За концы держит мешок Григорий, а сам строки газетные глазами нижет.

Политов пригоршнями сыпал муку, встряхнул до половины набитый мешок и в горницу мотнулся.

Принес два куска сала свиного, завернул в ржавый капустный лист, в мешок положил, буркнул:

– Пойдешь домой – захвати вот это!

– Не возьму я... – вспыхнул Григорий.

– Как же не возьмешь?

– Так и не возьму...

– Что же ты, гад! – белея, крикнул Политов и глаза в Гришку вонзил. – А еще товарищ! С голоду будешьдохнуть и слова не скажешь. Бери, а то и дружба врозь...

– Не хочу я брать у тебя последнее...

– Последняя у попа попадя, – уже мягче сказал Политов, глядя, как Григорий сердито завязывает мешок.

Собрание окончилось перед рассветом.

Степью шел Гришка. Плечи оттягивал мешок с мукой, до крови растертые ноги, но бодро и весело шагал он навстречу полыхавшей заре.

IV

Зарею вышла из шалаша Дунятка помету сухого собрать на топку. Григорий рысью от база бежит. Догадалась, что случилось что-то недоброе.

– Аль поделалось что?

– Телушка Гришакина сдохла... Еще три скотинки захворали. – Дух перевел, сказал: – Иди, Дунь, в хутор. Накажи Гришаке и остальным, чтоб пришли нонче... скотина, мол, захворала.

Наскорях покрылась Дунятка. Зашагала Дунятка через бугор от солнышка, ползущего из-за кургана.

Проводил ее Григорий и медленно пошел к базу.

Табун ушел в падинку, а около плетней лежали три телки. К полудню подошли все.

Мечется Григорий от табуна к базу: захворало еще две штуки...

Одна возле пруда на сыром иле упала; голову повернула к Гришке, мычит протяжно; глаза выпуклые слезой стекленеют, а у Гришки по щекам, от загара бронзовым, свои соленые слезы ползут.

На закате солнца пришла с хозяевами Дунятка...

Старый дед Артемыч сказал, трогая костылем недвижную телку:

– Шуршелка – болезнь эта... Теперя начнет весь табун валять.

Шкуры ободрали, а туши закопали невдалеке от пруда. Земли сухой и черной насыпали свежий бугор.

А на другой день снова по дороге в хутор вышагивала Дунятка. Заболело сразу семь телят...

Дни уплывали черной чередой. Баз опустел. Пусто стало и на душе у Гришки. От полутора ста голов осталось пятьдесят. Хозяева приезжали на арбах, обдирали издохших телят, ямы неглубокие рыли в падинке, землей кровавистые туши прикидывали и уезжали. А табун нехотя заходил на баз; телята ревели, чуя кровь и смерть, невидимо ползающую промеж них.

Зорями, когда пожелтевший Гришка отворял скрипучие ворота база, выходил табун на пастбу и неизменно направлялся через присохшие холмы могил.

Запах разлагающегося мяса, пыль, вздернутая беснующимся скотом, рев, протяжный и беспомощный, и солнце, такое же горячее, в медлительном походе идущее через степь.

Приезжали охотники с хутора. Стреляли вокруг плетней база: хворь лютую пугали от база. А телята всё дохли, и с каждым днем редел и редел табун.

Начал замечать Гришка, что разрыты кое-какие могилы; кости обглоданные находил неподалеку; а табун, беспокойный по ночам, стал пугливый.

В тишине, ночами, вдруг разом распухал дикий рев, и табун, ломая плетни, метался по базу.

Телята повалили плетни, кучками переходили к шалашу. Спали возле огня, тяжело вздыхая и пережевывая траву.

Гришка не догадывался до тех пор, пока ночью не проснулся от собачьего бреха. На ходу надевая полушубок, выскочил из шалаша. Телята затерли его влажными от росы спинами.

Постоял у входа, собакам свистнул и в ответ услышал из Гадючьей балки разноголосый и надрывистый волчий вой. Из тернов, перепоясавших гору, басом откликнулся еще один...

Вошел в шалаш, жирник засветил.

– Дуня, слышишь?

Переливчатые голоса потухли вместе со звездами на заре.

V

Поутру приехали Игнат-мельник и Михей Нестеров. Григорий в шалаше чирики латал. Вошли старики. Дед Игнат шапку снял, шурясь от косых солнечных лучей, ползавших по земляному полу шалаша, руку поднял – перекреститься хотел на маленький портрет Ленина, висевший в углу. Разглядел и на полдороге торопливо сунул руку за спину; сплюнул злобно.

– Так-с... Иконы Божьей, значит, не имеешь?..

– Нет...

– А это кто же на святом месте находится?

– Ленин.

– То-то и беда наша... Бога нетути, и хворь тут как тут... Через эти самые дела и телятки-то передохли... О-хо-хо, Вседержитель наш милостивый...

– Теляты, дедушка, оттого дохли, что ветеринара не позвали.

– Жили раньше и без ветинара вашего... Ученый ты больно уж... Лоб бы свой нечистый крестил почаще, и ветинар не нужен был бы.

Михей Нестеров, ворочая глазами, выкрикнул:

– Сыми с переднего угла нехристя-то!.. Через тебя, поганца, богохульщика, стадо передохло.

Гришка побледнел слегка.

– Дома бы распорядились... Рот-то нечего драть... Это вождь пролетариев...

Накочетился Михай Нестеров, багровея, орал:

– Миру служишь – по-нашему и делай... Знаем вас, таких-то... Гляди, а то скоро управимся.

Вышли, нахлобучив шапки и не прощаясь.

Испуганная, глядела на брата Дунятка.

А через день пришел из хутора кузнец Тихон – телушку свою проведать.

Сидел возле шалаша на корточках, сигарку курил, говорил, улыбаясь горько и криво:

– Житье наше поганое... Старого председателя сместили, управляет теперича Михея Нестерова зять. Ну, вот и крутят на свой норов... Вчерась землю делили: как только кому из бедных достается добрая полоса, так зачинают передел делать. Опять на хребтину нам садятся богатеи... Позабрали они, Гришуха, всю добрую землю. А нам суглинок остался... Вот она, песня-то какая...

До полуночи сидел у огня Григорий и на шафранных разлапистых листьях кукурузы углем выводил заскорузлые строки. Писал про неправильный раздел земли, писал, что вместо ветеринара боролись стрельбою с болезнью скота. И, отдавая пачку сухих исписанных кукурузных листьев Тихону-кузнецу, говорил:

– Доведется в округ сходить, то спросишь, где газету «Красную правду» печатают. Отдашь им вот это... Я разбористо писал, только не мни, а то уголь сотрешь...

Пальцами обожженными, от угля черными, бережно взял шуршащие листки кузнец и за пазуху возле сердца положил. Прощаясь, сказал с той же улыбкой:

– Пешком пойду в округ, может, там найду советскую власть... Полтора верста я за трое суток покрою. Через неделю, как вернусь, так гукну тебе...

VI

Осень шла в дождях, в мокрости пасмурной.

Дунятка с утра ушла в хутор за харчами.

Телята паслись на угорье. Григорий, накинув зипун, ходил за ними следом, головку поблекшую придорожного татарника мял в ладонях задумчиво. Перед сумерками, короткими по-осеннему, с бугра съехали двое конных.

Чавкая копытами лошадей, подскакали к Григорию.

В одном опознал Григорий председателя – зятя Михея Нестерова, другой – сын Игнат-мельника.

Лошади в мыле потном.

– Здорово, пастух!..

– Здравствуйте!..

– Мы к тебе приехали...

Перевесившись на седле, председатель долго расстегивал шинель пальцами иззябшими; достал желтый газетный лист. Развернул на ветру.

– Ты писал это?

Заплясали у Григория его слова, с листьев кукурузных снятые, про передел земли, про падеж скота.

– Ну, пойдем с нами!

– Куда?

– А вот сюда, в балку... Поговорить надо... – Дергаются у председателя посинелые губы, глаза шныряют тяжело и нудно.

Улыбнулся Григорий:

– Говори тут.

– Можно и тут... коли хочешь...

Из кармана наган выхватил... прохрипел, задерживая мордующуюся лошадь:

– Будешь в газетах писать, гадюка?

– За что ты?..

– За то, что через тебя под суд иду! Будешь кляузничать?.. Говори, коммунычий ублюдок!..

Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием.

Под ноги вздыбившейся лошади повалился Григорий, охнул, пальцами скрюченными выдернул клочок порыжелой и влажной травы и затих.

С седла соскочил сын Игната-мельника, в пригоршню загреб ком черной земли и в рот, запенившийся пузырячатой кровью, напихал...

Широка степь и никем не измерена. Много по ней дорог и проследков. Темней темного ночь осенняя, а дождь следы лошадиных копыт начисто смое...

VII

Изморось. Сумерки. Дорога в степь.

Тому не тяжело идти, у кого за спиной сумчонка с краюхой ячменного хлеба да костыль в руках.

Идет Дунятка обочь дороги. Ветер полы рваной кофты рвет и в спину ее толкает порывами.

Степь кругом залегла неприветная, сумрачная. Смеркается.

Курган завиднелся невдалеке от дороги, а на нем шалаш с космами разметанного бурьяна.

Подошла походкой кривою, как будто пьяною, и на могилку осевшую легла вниз лицом.

Ночь...

Идет Дунятка по шляху наезженному, что лег прямиком к станции железнодорожной.

Легко ей идти, потому что в сумке, за спиною, краюха хлеба ячменного, затрепанная книжка со страницами, пропахшими горькой степной пылью, да Григория-брата рубаха холщовая.

Когда горечью набухнет сердце, когда слезы выжигают глаза, тогда где-нибудь, далеко от чужих глаз, достает она из сумки рубаху холщовую нестираную... Лицом припадает к ней и чувствует запах родного пота... И долго лежит неподвижно...

Версты уходят назад. Из степных буераков вой волчий, на житье негодующий, а Дунятка обочь дороги шагает, в город идет, где советская власть, где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой.

Так сказано в книжке Ленина.

1925

Продкомиссар

I

В округ приезжал областной продовольственный комиссар.

Говорил торопясь и дергая выбритыми досиня губами:

– По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру во как... – Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко. – Злостно укрывающих – расстреливать!..

Головой, голо остриженной, кивнул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробыным скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка.

По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись:

– Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат...

Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад заиндедеввшие плетни. Сумерки вечерние. Станица – как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов, Игнашке Бодягину – четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

– Сволочь ты, батя...

– Я?!

– Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Изната, испорол до крови чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал, – бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

– Поди, сынок, походи по миру, а ума-разума наберешься – назад вертайся, – и ухмыльнулся.

Так было, а теперь шуршит тачанка мимо заиндедеввших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

– Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву щетинку, сощурился:

– Все богатеет... Новую бабу завел, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегают...

И, меняя тон на серьезный, добавил:

– Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии Ревтрибунала сказал:

– Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем...

III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

– Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую, загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

– Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза.

– С красными, сынок?

– С ними, батя.

– Тэ-э-эк... – В сторону отвел взгляд.

Помолчали.

– Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего?

Старик зло и упрямо наморщил переносицу.

– Почти не к чему... Стёжки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пуцаю, – я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.

У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

– Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

– Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

– Кто работал – сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!..

У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:

– Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема... – Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым: – Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит Матерь Божия, – своими руками из тебя душу выну.

* * *

Вечером за станцией мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко:

– Становитесь до яру ближе...

Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, сказал придуренно:

– Не серчай, батя...

Подождал ответа.

Тишина.

– Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега.

IV

Телеграфные столбы, воробыным скоком обежавшие весь округ, сказали: на Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались.

Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришла буря. Понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысину кургана, поднатужась, перевалили двое конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу.

– Не уйдут коммунисты!..

За курганом Тесленко, вислоусый украинец, поводьями тронул маштака-киргиза.

– Черта с два догонят!

Лошадей прижеливали. Знали, что разлапистый бугор лег верст на тридцать.

Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгорбатилась. Верстах в трех от станицы, в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

– Какого черта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.

– Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

– Я, дяденька, замерзаю... Я – сирота... по миру хожу. – Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, в полу завернул щуплое тельце и долго сидел на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади.

Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

– Брось пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо можуть споймать нас!.. – Богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. – Догонят – зарубают! Щоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Око-стенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки заматывая на луку, к нагану тянулся.

– Не брошу мальчонку, замерзнет!.. Отвяжись, старая падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый украинец, поводья натянул:

– Не можно уйти! Шабаш!

Пальцы – чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

– За гриву держись, головастик!

Ударил ножами шашки по потному крупу коня. Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи...

* * *

Лежали трое суток. Тесленко, в немых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень.

1925

Шибалково семя

– Образованная ты женщина, очки носишь, а того не возьмешь в понятие... Куда я с ним денусь?..

Отряд наш стоит верстов сорок отсель, шел я пеши и его на руках нес. Видишь, кожа на ногах порепалась? Как ты есть заведывающая этого детского дома, то прими дитя! Местов, говоришь, нету? А мне куда его? В достаточности я с ним страданье перенес. Горюшка хлебнул выше горла... Ну да, мой это сынишка, мое семя... Ему другой год, а матери не имеет. С маманькой его вовсе особенная история была. Что ж, я могу и рассказать. Позапрошлый год находился я в сотне особого назначения. В ту пору гоняли мы по верховым станицам Дона за бандой Игнатьева. Я в аккурат пулеметчиком был. Выступаем как-то из хутора, степь голая кругом, как плешина, и жарынь неподобная. Бугор перевалили, под гору в лесок зачали спускаться, я на тачанке передом. Глядь, а на пригорке в близости навроде как баба лежит. Тронул я коней, к ней правлюсь. Обыкновенно – баба, а лежит кверху мордой, и подол юбки выше головы задрапанный. Слез, вижу – живая, двошит... Воткнул ей в зубы шашку, разжал, воды из фляги плеснул, баба оживела навовсе. Тут подскакали казаки из сотни, допрашиваются у нее:

– Что ты собою за человек и почему в бессовестной видимости лежишь вблизи шляха?

Она как заголосит по-мертвому – насилиу дознались, что банда из-под Астрахани взяла ее в подводы, а тут насильничали и, как водится, кинули посередь пути... Говорю я станишникам:

– Братцы, дозвоьте мне ее на тачанку взять, как она пострадавши от банды.

Тут зашумела вся сотня:

– Бери ее, Шибалок, на тачанку! Бабы, они живущи, стервы, нехай трошки подправится, а там видно будет!

Что ж ты думаешь? Хоть и не обожаю я нюхать бабьи подолы, а жалость к ней поимел и взял ее, на свой грех. Пожила, освоилась – то лохуны казакам выстирает, глядишь, латку на шаровары кому посодит, по бабьей части за сотней надглядала. А нам уж как будто и страотно бабу при сотне содержать. Сотенный матюкается:

– За хвост ее, курву, да под ветер спиной!

А я жалкую по ней до высшего и до большего степени. Зачал ей говорить:

– Метись отсель, Дарья, подобру-поздорову, а то присватается к тебе дурная пуля, пося плакаться будешь...

Она в слезы, в крик ударилась:

– Расстрелите меня на месте, любезные казачки, а не пойду от вас!

Вскорости убили у меня кучера, она и задает мне такую заковырину:

– Возьми меня в кучера? Я, дескать, с коньми могу не хуже иного-прочего обходиться...

Даю ей вожжи.

– Ежели, – говорю, – в бою не вспашишься в два счета тачанку задом обернуть – ложись посередь шляха и помирай, все одно заporю!

Всем служивым казакам на диво кучеровала. Даром что бабьего пола, а по конскому делу разбиралась хлеще иного казака. Бывало, на позиции так тачанку крутнет, ажник кони в дыбки становятся. Дальше – больше... Начали мы с ней путаться. Ну, как полагается, забрюхатела она. Мало ли от нашего брата бабья страдает. Этак месяцев восемь гоняли мы за бандой. Казаки в сотне ржут:

– Мотри, Шибалок, кучер твой с харча казенного какой гладкий стал, на козлах не уместается!

И вот выпала нам такая линия – патроны прикончились, а подвозу нет. Банда расположилась в одном конце хутора, мы в другом. В очень секретной тайне содержим от жителей,

что патрон не имеем. Тут-то и получилась измена. Посередь ночи – я в заставе был – слышу: стоном гудет земля. Лавой идут по-за хутором и оцепить нас имеют в виду. Прут в наступ, явственно без всяких опасений, даже позволяют себе шуметь нам:

– Сдавайтесь, красные казачки, беспатронники! А то, братушки, нагоним вас на склизкое!..

Ну и нагнали... Так накрутили нам хвосты, что довелось-таки мерять по бугру, чья коняка добрее. Поутру собрались верстах в пятнадцати от хутора, в лесу, и доброй половины своих недосчитались. Какие ушли, а остальных порубали. Ущемила меня тоска – житья нету, а тут Дарью хворь обротала. Вёрхи поскакалась ночью и вся собой сменилась, почернела. Гляжу, покрутилась с нами и пошла от становища в лес, в гущину. Я такое дело смекнул и за ней по следу. Забилась она в яры, в бурелом, вымоину нашла и, как волчиха, листьев-падалицы нагребла и легла спервоначалу вниз мордой, а посла на спину обернулась. Квохчет, счинается родить, я за кустом не ворохнусь сижу, на нее скрозь ветки поглядываю... И вот она кряхтит-кряхтит, потом зачинает покрикивать, слезы у ней по щекам, а сама вся зеленью подернулась, глаза выпучила, тужится, ажник судорога ее выгинает. Не казачье это дело, а гляжу и вижу – не разродится баба, помрет... Выскочил я из-за куста, подбег к ней, смекаю, что надо мне ей помочь оказать. Нагнулся, рукава засучил, и такая меня оторопь взяла, потом весь взмок. Людей доводилось убивать – не робел, а тут поди вот! Вожусь около нее, она перестала выть и такую мне запаливает хреновину:

– Знаешь, Яша, кто банде сообщил, что у нас патронов нет? – и глядит на меня серьезно так.

– Кто? – спрашиваю у ней.

– Я.

– Что ты, дурная, собачьей бесилы обтрескалась? Не тот час, чтоб гутарить, молчи лежи!..

Она опять свое:

– Смертынька в головах у меня стоит, повинюсь перед тобой я, Яша... Не знаешь ты, какую змею под рубахой грел...

– Ну, винись, – говорю, – ляд с тобой!

Тут она и выложила. Рассказывает, а сама головою оземь бьется.

– Я, – говорит, – в банде своей охотой была и тягалась с ихним главачом Игнатьевым... Год назад послали меня в вашу сотню, чтоб всякие сведения я им сообщала, а для видимости я и представилась насильованной. Помираю, а то в дальнеющем я бы всю сотню перевела...

Сердце у меня тут прикипело в грудях, и не мог я стерпеть – вдарил ее сапогом и рот ей раскровянил. Но тут у ней схватки заново начались, и вижу я – промеж ног у нее образовалось дите... Мокрое лежит и верещит, как зайчонок на зубах у лисы... А Дарья уж и плачет и смеется, в ногах у меня ползот и все колени мои норовит обнять... Повернулся я и пошел от нее до сотни. Прихожу и говорю казакам – так и так...

Поднялась промеж них киповень. Спервоначалу хотели меня порубать, а посла и говорят мне:

– Ты примолвил ее, Шибалок, ты должен ее и прикончить, со всем с новорожденным отродьем, а нет – тебя на капусту посекем...

Стал я на колени и говорю:

– Братцы! Убью я ее не из страха, а по совести, за тех братьев-товарищей, какие головы поклали через ее изменшество, но поймите вы сердце к дитю. В нем мы с ней половинные участники, мое это семя, и пушай живым оно остается. У вас жены и дети есть, а у меня, окромя его, никого не оказывается...

Просил сотню и землю целовал. Тут они поймали ко мне жалость и сказали:

– Ну, добре! Нехай твое семя растет, и нехай из него выходит такой же лихой пулеметчик, как и ты, Шибалок. А бабу прикончь!

Кинулся я к Дарье. Она сидит, оправилась и дитя на руках держит.

Я ей и говорю:

– Не дам я тебе дитя к грудям припущать. Коли родился он в горькую годину – пушай не знает материнного молока, а тебя, Дарья, должен я убить за то, что ты есть контра нашей советской власти. Становись к яру спиной!..

– Яша, а дите? Твоя плоть. Убьешь меня, и оно помрет без молока. Дозволь мне его выкормить, тогда убивай, я согласна...

– Нет, – говорю я ей, – сотня мне строгий наказ дала. Не могу я тебя в живых оставить, а за дитя не сумлевайся. Молоком кобыльим выкормлю, к смерти не допущу.

Отступил я два шага назад, винтовку снял, а она ноги мне обхватила и сапоги целует...

После этого иду обратно, не оглядываюсь, в руках дрожание, ноги подгибаются, и дите, склизкое, голое, из рук падает...

Дён через пять тем местом назад ехали. В ложине над лесом воронья туча... Хлебнул я горюшка с этим дитем.

– За ноги его да об колесо!.. Что ты с ним страдаешь, Шибалок? – говорили, бывало, казаки.

А мне жалко постреленка до крайности. Думаю: «Нехай растет, батьке вязы свернут – сын будет власть советскую оборонять. Все память по Якову Шибалку будет, не бурьяном помру, потомство оставляю...» Попервам, веришь, добрая гражданка, слезьми плакал с ним, даром что извеку допрежь слез не видал. В сотне кобыла ожеребилась, жеребенка мы пристрелили, ну вот и пользовали его молоком. Не берет, бывало, соску, тоскует, потом свыкся, соску дудолил не хуже, чем материну титьку иное дите.

Рубаху ему из своих исподников сшил. Сейчас он маленечко из ней вырос, ну да ничего, обойдется...

Вот теперича ты и войди в понятие: куда мне с ним деваться? Мал дюже, говоришь? Он смышленный и жевки потребляет. Возьми его от лиха! Берешь?.. Вот спасибо, гражданка!.. А я, как толечко разобьем фоминовскую банду, надбегу его проведать.

Прощай, сынок, семя Шибалково! Расти... Ах, сукин сын! Ты за что же отца за бороду трепашь? Я ли тебя не пестал? Я ли с тобой не нянчился, а ты драку заводишь под конец? Ну, давай на расставање в маковку тебя поцелую...

Не беспокойтесь, добрая гражданка, думаете, он кричать будет? Не-е-ет!.. Он у нас трошки из большевиков, кусаться – кусается, нечего греха таить, а слезу из него не вышибешь!..

Илюха

I

Началось это с медвежьей охоты.

Тетка Дарья рубила в лесу дровишки, забралась в непролазную гущу и едва не попала в медвежью берлогу. Баба Дарья бедовая – оставила неподалеку от берлоги сынишку караулить, а сама живым духом мотнулась в деревню. Прибежала – и перво-наперво в избу Трофима Никитича.

– Хозяин дома?

– Дома.

– На медвежью берлогу напала... Убьешь – в часть примешь.

Поглядел Трофим Никитич на нее снизу вверх, потом сверху вниз, сказал презрительно:

– Не брешешь – веди, часть барышов за тобою.

Собрались и пошли, Дарья передом чикиляет, Трофим Никитич с сыном Ильей сзади. Сорвалось дело: подняли из берлоги брюхатую медведицу, стреляли чуть ли не в упор, но по случаю бессовестных ли промахов или еще по каким неведомым причинам, но только зверя упустили. Долго осматривал Трофим Никитич свою ветхую берданку, долго «тысячился», косясь на ухмылявшегося Илью, под конец сказал:

– Зверя упущать никак не можем. Придется в лесу ночевать.

Путру видно было, как через лохматый сосновый молодняк уходила медведица на восток, к Глинищевскому лесу. Путаный след отчетливо печатался на молодом снегу; по следу Трофим с сыном двое суток колесили. Пришлось и позябнуть, и голоду опробовать – харчи прикончились на другой день, – и лишь через трое суток на прогалинке, под сиротливо пригорюнившейся березой, устукали захваченную врасплох медведицу. Вот тут-то и сказал Трофим Никитич в первый раз, глядя на Илью, ворочавшего семнадцатипудовую тушу:

– А силенка у тебя водится, паря... Женить тебя надо, стар я становлюсь, немощен, не могу на зверя ходить и в стрельбе площаю – мокнет слезой глаз. Вот видишь, у зверя в брюхе дети, потомство... И человеку такое назначение дадено.

Воткнул Илья нож, пропитанный кровью, в снег, потные волосы откинул со лба, подумал: «Ох, начинается...»

С этого и пошло. Что ни день, то все напористей берут Илью в оборот отец с матерью: женись да женись, время тебе, мать в работе состарилась, молодую бы хозяйку в дом надо, старухе на помощь... И разное тому подобное.

Сидел Илья на печке, посапливал да помалкивал, а потом до того разжелудили парня, что потихоньку от стариков пилу зашил в мешок, топор прихватил и прочие инструменты по плотницкой части и начал собираться в дорогу, да не куда-нибудь, а в столицу, к дяде Ефиму, который в булочной Моссельпрома продавцом служит.

А мать свое не бросает:

– Приглядела тебе, Ильюшенька, невесту. Была бы тебе хороша да пригожа, чисто яблочко наливное. И в поле работать, и гостя принять приятным разговором может. Усватать надо, а то отобьют.

В хворь вогнали парня, в тоску вдался, больно жениться неохота, а тут-таки, признаться, и девки по сердцу нет, в какую деревню ни кинь поблизости – нет подходящей. А как узнал, что в невесты ему прочат дочь лавочника Федюшина, вовсе ошетинился.

Утром, кое-как позавтракав, попрощался с родными и пешкодралом махнул на станцию. Мать при прощании всплакнула, а отец, брови седые сдвинув, сказал зло и сердито:

– Охота тебе шляться, Илья, иди, но домой не заглядывай. Вижу, что зараженный ты кумсамолом, все с ними, с поганцами, нюхался, ну и живи как знаешь, а я тебе больше не указ...

Дверь за сыном захлопнул, глядел в окно, как по улице, прямой и широкой, вышагивал Илья, и, прислушиваясь к сердитому всхлипыванию старухи, морщился и долго вздыхал.

А Илья выбрался за село, посидел возле канавки и засмеялся, вспоминая Настю – невесту проченую. Больно на монашку похожа: губки ехидно поджатые, все вздыхает да крестится, ровно старушка древняя, ни одной обедни не пропустит, а сама собой – как перекишая опара.

II

Москва не чета Костроме. Вначале пугался Илья каждого автомобильного гудка, вздрагивал, глядя на грохочущий трамвай, потом свыкся. Устроил его дядя Ефим на плотницкую работу.

...Ночью, припозднившись, шел с работы по Плющихе, под безмолвной шеренгой желтоглазых фонарей. Чтобы укоротить дорогу, свернул в глухой, кривенький переулок и возле одной из подворотен услышал сдавленный крик, топот и звук пощечины. Ускорил Илья шаги, заглянул в черное хайло ворот: возле мокрой сводчатой стены пьяный слюняй, в пальто с барашковым воротником, лапал какую-то женщину и, захлебываясь отрыжкой, глухо бурчал:

– Н-но... позвольте, дорогая... в наш век это так просто. Мимолетное счастье...

Увидел Илья за барашковым воротником красную повязку и девичьи глаза, налитые ужасом, слезами, отвращением.

Шагнул Илья к пьяному, барашковый воротник сграбастал пятернею и шваркнул брюзглное тело об стену. Пьяный охнул, рыгнул, бычачьим бессмысленным взглядом уперся в Илью и, почувствовав на себе жесткие по-звериному глаза парня, повернулся и, спотыкаясь, оглядываясь и падая, побежал по переулку.

Девушка в красном платке и потертой кожанке крепко уцепилась Илье за рукав.

– Спасибо, товарищ... Вот какое спасибо!

– За что он тебя облапил-то? – спросил Илья, конфузливо переминаясь.

– Пьяный, мерзавец... Привязался. В глаза не видала...

Сунула ему девушка в руки листок со своим адресом и, пока дошли до Зубовской площади, все твердила:

– Заходите, товарищ, по свободе. Рада буду...

III

Пришел Илья к ней как-то в субботу, поднялся на шестой этаж, у ошарпанной двери с надписью «Анна Бодрухина» остановился, в темноте пошарил рукою, нащупывая дверную ручку, и осторожненько постучался. Отворила дверь сама, стала на пороге, близоруко щурясь, потом угадала, пыхнула улыбкой:

– Заходите, заходите.

Ломая смущение, сел Илья на краешек стула, оглядывался кругом робко, на вопросы выдавливал из себя кургузые и тяжелые слова:

– Костромской... плотник... на заработки приехал... двадцать первый год мне.

А когда ненароком обмолвился, что сбежал от женитьбы и богомольной невесты, девушка смехом рассыпалась, привязалась:

– Расскажи да расскажи.

И, глядя на румяное лицо, полыхавшее смехом, сам рассмеялся Илья; неуклюже махая руками, долго рассказывал про все, и вместе перемежали рассказ хохотом молодым, по-весеннему. С тех пор заходил чаще. Комнатка с вылинявшими обоями и портретом Ильича с серд-

чем сроднилась. После работы тянуло пойти посидеть с нею, послушать немудрый рассказ про Ильича и поглядеть в глаза ее серые, светлой голубизны.

Весенней грязью цвели улицы города. Как-то зашел прямо с работы, возле двери поставил он инструмент, взялся за дверную ручку и обжегся знобким холодком. На дверях на клочке бумаги знакомым, косым почерком: «Уехала на месяц в командировку в Иваново-Вознесенск».

Шел по лестнице вниз, заглядывая в черный пролет, под ноги сплевывал клейкую слюну. Сердце щемила скука. Высчитал, через сколько дней вернется, и чем ближе подползал желанный день, тем острее росло нетерпение.

В пятницу не пошел на работу – с утра, не евши, ушел в знакомый переулок, залитый сочным запахом цветущих тополей, встречал и провожал глазами каждую красную повязку. Перед вечером увидал, как вышла она из переулка, не сдержался и побежал навстречу.

IV

Опять вечерами с нею – или на квартире, или в комсомольском клубе. Выучила Илью читать по складам, потом писать. Ручка в пальцах у Ильи листком осиновым трясется, на бумагу бросает кляксы; оттого, что близко к нему нагибается красная повязка, у Ильи в голове будто кузница стучит в висках размеренно и жарко.

Прыгает ручка в пальцах, выводит на бумажном листе широкоплечие, сутулые буквы, такие же, как и сам Илья, а в глазах туман, туман...

Месяц спустя секретарю ячейки постройкома подал Илья заявление о принятии в члены РЛКСМ, да не простое заявление, а написанное рукою самого Ильи, со строчками косыми и курчавыми, упавшими на бумагу, как пенные стружки из-под рубанка.

А через неделю вечером встретила его Анна у подъезда застывшей шестиэтажной машины, крикнула обрадованно и звонко:

– Привет товарищу Илье – комсомольцу!..

V

– Ну, Илья, время уже два часа. Тебе пора идти домой.

– погоди, аль не успеешь выспаться?

– Я вторую ночь и так не сплю. Иди, Илья.

– Больно на улице грязно... Дома хозяйка-то лает: «Таскаешься, а мне за всеми вами отпирать да запирать дверь вовсе без надобности...»

– Тогда уходи раньше, не засиживайся до полночи.

– Может, у тебя можно... где-нибудь... Переночевать?

Встала Анна из-за стола, повернулась к свету спиной. На лбу косая, поперечная морщина легла канавой.

– Ты вот что, Илья... если подбираешься ко мне, то отчаливай. Вижу я за последние дни, к чему ты клонишь... Было бы тебе известно, что я замужняя. Муж четвертый месяц работает в Иваново-Вознесенске, и я уезжаю к нему на днях...

У Ильи губы словно серым пеплом покрылись.

– Ты за-му-жня-я?

– Да, живу с одним комсомольцем. Я сожалею, что не сказала тебе этого раньше.

На работу не ходил две недели. Лежал на кровати пухлый, позеленевший. Потом встал как-то, потрогал пальцем ржавчиной покрытую пилу и улыбнулся натянуто и криво.

Ребята в ячейке засыпали вопросами, когда пришел:

– Какая тебя болячка укусила? Ты, Илюха, как оживший покойник. Что ты пожелтел-то?

В коридоре клуба наткнулся на секретаря ячейки.

- Илья, ты?
- Я.
- Где пропадал?
- Хворал... голова что-то болела.
- У нас есть одна командировка на агрономические курсы, согласен?
- Я ведь малограмотный очень. А то бы поехал...
- Не бузи! Там будет подготовка, небось выучат...

* * *

Через неделю, вечером, шел Илья с работы на курсы, сзади окликнули:

– Илья!

Оглянулся – она, Анна, догоняет и издали улыбается. Крепко пожала руку:

– Ну, как живешь? Я слышала, что ты учишься?

– Помаленьку, и живу и учусь. Спасибо, что грамоте научила.

Шли рядом, но от близости красной повязки уж не кружилась голова. Перед прощанием спросила, улыбаясь и глядя в сторону:

– А та болячка зажила?

– Учусь, как землю от разных болячек лечить, а на эту... – Махнул рукой, перекинул инструмент с правого плеча на левое и зашагал, улыбаясь, дальше – грузный и неловкий.

1925

Алешкино сердце

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру, сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа – как сохшая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росой, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрал до канавы, стоная, долго перелезая через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяйева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай – скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склублились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу всё до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка – младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами:

– Бери за ноги...

Взяли. Алешка – за ноги, мать – за курчавую головку, отнесли за сад в канаву, слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

– Леш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

– А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

– Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

– Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал...

Ноги у Алешки – как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивая слова:

– Я, маманька, не дойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Польша, старшая сестра Алешки, доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно вошла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала, – голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха – баба ядреная и злая. Увидела Польшу, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой – зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видал Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польшу с крыльца за ноги. Подол Полькиной юбочки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровавистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Алешка, как Макарчиха кинула Польшу в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманым запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихино двора. Под амбаром загремел цепью и забрежал привязанный кобель.

– Цыц!.. Серко... Серко... – Стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась, спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и – к погребу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая пил из кувшина молоко.

– Ах ты, хвятинов в твою дышало! Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из заолодавших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

* * *

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день – праздник Троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово:

– Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

– Долго пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь – девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку – и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит – белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

– А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись, нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

– Христа ради...

– Бог подаст!.. – И зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах – хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая – полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров – шаги и нечищенные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиною часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струею желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

– Это кто тут?

– Я...

– Кто ты?

– Алешка...

– Ну, вылазь!..

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

– Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Сеницын!»

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, тряс головой:

– Жалко тебе, жадюга?!

– Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь.

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская губами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Синицын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил:

– От тебя воняет, Алешка?

– Я исть хочу... – буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

– Сейчас мы сварим каши, но... от тебя, Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

– Меня Макаρχиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

– У тебя черви?

– В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопли, а очкастый заглянул в круглую гноющуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

– Ты вот чего... ты мне их повыковыряй палочкой, а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился остороженько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репы выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился-таки – цап ее за хвост, а тут сзади голос:

– Эй, Алешка!.. Будя тебе злодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богатей Иван Алексеев, смотрит на Алешку улыбочиво.

– Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня, как полагается, настоященский... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямки брякнул:

– Пойду, Иван Алексеев.

– Ну, являйся с пожитками к вечеру! – И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться – только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья – одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату – за девять пригоршней муки, базы – за пшено, леваду Макарчиха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки – зипун отцовский да материны валенки приношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка – к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядно, сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы посадила вечерять хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит:

– Ишо дармоеда привел! Он слопаёт больше, чем заработает. Провожай его, Алексеевич, с богом! Не нужен по теперешним временам!

– Молчи, баба! Есть две отвертки – знай посапливай! – Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая.

На том разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел – въедливый на работу, с семи лет погоньчем был, хвосты быкам накручивал.

Дня три пожил – освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

– Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтoб ни-ни!

– Я, дяденька, не занимаюсь.

– Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь – тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, в спине кол болячкой растопырился, и сон нейдет. На третий день – спозаранку – прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая.

– Ты где запропал, Алексей?

– В работники нанялся.

– К кому?

– К Ивану Алексееву, на краю живет.

– Ну, браток, надбеги вечерком. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

– Ты в грамоте знаешь, Алексей?

– В приходском учился. Себя расписываю.

– Пойдем со мною!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано – раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно и непонятно. Вошел очкастый, Алешка, робея, – следом. В комнатухе портреты, флаг красный, слинявший, и ребята кое-какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосилились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц.

* * *

Говорил Алешке Иван Алексеев:

– Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь, – в один момент сгоню со двора!.. Иди издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровый кушачок засунет, знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник:

– Здорово живешь, Иван Алексеев!

– Слава богу.

– Совесть-то всю растерял?

– Что такое?

– А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душу возьмешь!..

– Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой баз глаза нечего пучить, а в общем, убирайся под разэтакую мать!.. – Повернулся к соседу спиной, зашагал степенно и враскачку, а за угол сарая завернул – бороду зажал промеж зубов ядреных и желтых, выругался матерно и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое доньшко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку-соседу: загонял коровенку со своего жнивья, держал ее привязанной и некормленной по двое суток, а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатухе народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидел Алешку, подошел, улыбаясь:

– Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу – ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул в стряпке – из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке: брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка, больно уж лют он на расправу. Подошел к косилке:

– Ты где бываешь ночью, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

– Где бываешь, говорю?!

– В клубе...

– А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на носилочные крылья, из глаз, словно просыная рушка, искры посыпались.

– Малость отвыкнешь шлаться!.. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтобы и духом твоим не воняло тут! – Запрягая в косилку коней, гремел хозяин: – Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть и будут за тебя, за гада, турсучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать:

– Ох, Ленка, пропадешь ты, коли помру я. Цыпляты тебя навозом загребут! И в кого ты такой уродился? Отца твоего через его ухватку и устукали на шахтах... Каждой дыре был гвоздь... А тебя сейчас ребяташки клюют, а опосля и вовсе из битых не вылезешь...

Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобиться, коли тот кусок ему дал? Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить – за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл...

Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки. Шаги и стук в окно.

– Хозяин!.. – тихо так, вполголоса. Прислушался Алешка: рыпнула дверь, на крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя.

– Лошадей бы трошки подкормить... – доплыло до сарая.

Алешка приподнял голову, увидел, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну. Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку:

– Ты спишь, Алешка?

Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподнимая голову.

– Парнишка живет у меня... Ненадежный...

Минут через пять скрипнула гуменная калитка, хозяин пронес беремья сена; следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полах шинели. Голос услышал Алешка сипло-придушенный:

– Пулеметы есть у них?

– Откедова!.. Два взвода красных стоит во дворе конторы... И все... Ну, там политком еще, весовщики...

– Завтра в полночь приедем на гости... в Казенном лесу все... Перережем, ежели врасплох...

Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:

– Тю, проклятая!..

Звук удара и топот танцующих копыт.

Перед рассветом, в редющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к Казенному лесу.

* * *

Утром за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно:

– Ты что не лопаешь?

– Голова болит.

Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись прошел на гумно, перемахнул через плетень и – рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабанившее сердце.

– Откуда ты сорвался, Алешка?

Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алешке ласково:

– Посиди тут... – и вышел.

С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в середине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы.

– По злобе наговорено вам...

– А вот увидим!..

Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексею строго так:

– Заходи!..

Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.

* * *

– Ну вот гляди: так и так, потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма...

Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.

Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота. На площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым – Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе...

В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:

– Ро-о-та... пли!..

Га-а-ах! Тах! Тах! Тах!..

За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-ах-ах!..

Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хрипкое: «Рота, пли!»

В конце широкой улицы – ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка – над головой тягуче-нудное: тю-ю-уть!..

Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:

– За мной!..

Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Гроыхнула щеколда.

– Вот они! Двое забегай в хату!.. – крикнул Алешка.

Очкастый, хромя на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской огорожей, по саду за кустами влажной смородины; жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышалось хрипкое матюканье и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.

Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:

– Эй, вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!

Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:

– По окнам, пли!

Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.

– Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь... Иначе мы не скоро возьмем их... Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..

Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росой. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась... Через порог шагнули двое; передний на руках держал девочку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казацки шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.

– Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!

Увидал Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслонила девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся – очкастый привстал на колени, а сам блее мела; по сторонам глянул.

Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл...

Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснулся огненный столб, услышал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонюче-серное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена.

* * *

Когда очнулся Алешка, увидел над собою зеленое – от бессонных ночей – лицо очкастого.

Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся.

– Я живой... не помер...

– И не померешь, Леня!.. Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..

В руке очкастого билет с номером, поднес к Алешкиным глазам, читает:

– Член РКСМ, Попов Алексей... Понял, Алешка?.. На полвершка от сердца попал тебе осколок гранаты... А теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит – на пользу рабоче-крестьянской власти.

Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидел то, чего никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую, дрожащую улыбку.

1925

Бахчевник

I

Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки; таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрешины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся:

– Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю обедать!

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором – старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы:

– Должен семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице... – Помолчал и добавил: – В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

– Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы, – говорит, – Анисим Петрович, действительно блюдете казачью честь, а Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

– Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал, ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

– А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услышал Митька от побледневшего брата твердое:

– Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суежилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

– Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

– Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

– Запертая... А на что тебе?

– Надо, значит. – Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал: – Ключи от конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь их... я хочу ехать...

– Куда?

– В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равные были, чтоб не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор из рук Митькину голову, спросил строго:

– Возьмешь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

– Возьму, – повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижимая... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на доньшке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердца, не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой. Нашупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот.

– Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

– Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни... Будить не хотел...

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизной налитые глаза:

– А зачем понадобились ключи?

– Кони что-то нудятся...

– Так и говори... – Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Митька – опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

– А какого коня возьмешь?

– Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

– Федя, а ить меня батя-то заперет?..

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

– Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом: коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем – лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена, и удушье перехватило горло.

II

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, оброта Гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал коня, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Федор, поди, у большевиков уже... В Красногвардии службу ломает...»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сторбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда... к большевикам... правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носу...»

У крыльца снял с коня узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

– По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

– Жеребчика нету в конюшне!..

– Где же он?

– Не знаю.

– А Федор где?

– Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

– Где седло?.. – загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

– Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку:

– Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

– Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?.. – Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

III

Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно, и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, сучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидел Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукой теребя темляк на шашке, гаркнул:

– Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались. Опять знакомый грозный голос:

– В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

– По порядку рассчитайся!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

– В сарай – шагом – арш!..

Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натываясь на людей, побежал по улице.

IV

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

– Маманька... испеки пышек... я бы отнес энтим, какие в сарае сидят... пленным.

У матери на глазах мокрая пленка.

– Отнеси, сынок, может – и наш Федя страдает где... И у пленных матери есть, тоже небось ночами подушки не высыхают.

– А как батя узнает?

– Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали...

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволоочной огородой и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

– Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

– Это я... харчи пленным принес.

– Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить?

– погоди, Прохорыч, никак, это комендантов парнишка?

– Ты Анисима Петровича сынок?

– Да...

– Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

– Не-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

– Тебя кто, пашенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не можешь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке твоему доложу? Он как за это тебя примолвит?

– Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

– А ежели Анисим Петрович про то узнает! Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыпят...

– Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

– По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

V

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь – к ярам, закутанным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел сигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

– Ты все лодырничает? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри – в хлеба не пушай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..

Обратал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

– Отнеси, маменька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день, утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и пошел в хату. В кухню вошел – на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровависто-белом. Из горницы клопочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровавистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни...

– Ми...ми...тя...тя...тя...тя...

И смех глухой, стонущий...

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые слизистые... На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

– Ой, убегай, сердешный, куда глазыньки твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился!

VI

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

– Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

– Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость – дадите кусок хлеба, а нет – и так издохнет...

– Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки и по летнику громяхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыва неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам – казаки из конвойной команды, в середине они – красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-так, так-так... Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе, ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежащего...

У Митьки в глазах темнеет и зноом наливается рот.

VII

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

– Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

– Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

– Не видал.

– Смотри не брешь. Строго ответишь за это!

– Не видал... не знаю...

– Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

– Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услышал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас параличом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

– Кто тут?

– Человек добрый, выйди, ради бога!..

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

– Кто такое?

– Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убег... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял.

– Федя... Братунюшка! Родненький...

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними: как только смеркнется – завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых, не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

– Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:

– А остальные ждут его или поскакали в станицу?

– Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

Привстав на стремянах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая. Шепнул Митька, бледнея:

– Федя... отец скачет!..

Рыжая отцовская борода пóтом взмокла, обгоревшее на солнце лицо – иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную:

– Говори: где Федор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и нафталином.

– Был он у тебя ночью?

– Нет.

– А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

– А ну, веки в шалаш!

Вошли – отец впереди, почерневший Митька сзади.

– Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку, то и его и тебя на распыл пуцу!..

– Нету... не знаю...

– Это что у тебя за бурьян в углу?

– Сплю на нем.

– Посмотрим. – Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий, обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами. Через минуту изо рта отца хриплое:

– Ага-а-а... Это что?

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок...

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

– Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали...

Светало. Где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло-румяную каемку протянул рассвет.

1925

Путь-дороженька

Повесть

Часть первая

I

Вдоль Дона до самого моря степью тянется Гетманский шлях. С левой стороны пологое песчаное Обдонье, зеленое чахлое марево заливных лугов, изредка белесые блестящие безыменных озер, с правой – лобастые насупленные горы, а за ними, за дымчатой каемкой Гетманского шляха, за цепью низкорослых сторожевых курганов, – речки, степные большие и малые казачьи хутора и станицы и седое вихрастое море ковыля.

* * *

Осень в этом году пришла спозаранку, степь оголила, брызнула жгучими заморозками.

Утром, перебирая в постовальне шерсть, сказал отец Петру:

– Ну, сынок, теперь работенки нам хоть убавляй! Морозы двинули, казачки шерсть перечесывают, а наше дело – струну поглаживай да рукава засучай повыше, а то спина взмокнет!..

Приподнимая голову, улыбнулся отец, сощурились выцветшие серые глаза, на щеках, залохмативших серой щетиной, вылегли черные гнутые борозды.

Петр, сидя на столе, обделывал колодку; поглядел, как на усталом лице отца тухнет улыбка, промолчал.

В постовальне душно до тошноты, с кособокого потолка размеренно капает, мухи ползают по засиженному слюдяному оконцу. Сквозь него заиневший плетень, вербы, колодезный журавль кажутся бледно-радужными, покрытыми ржавой прозеленью. Взглянет мельком Петр во двор, переведет взгляд на голую согнутую спину отца, шевеля губами, высчитывает уступы на позвоночном столбе и долго глядит, как движутся лопатки и дряблая кожа морщинистыми комками собирается на отцовской спине.

Узловатые пальцы привычно быстро выбирают из шерсти репы, колючки, солому, и в такт движениям руки качаются лохматая голова и тень ее на стене. Приторно и остро воняет пареной овечьей шерстью. Пот бисерным горошком сыплется у Петра по лицу, мокрые волосы свисают на глаза. Вытер ладонью лоб, колодку кинул на подоконник.

– Давай, батя, полудновать? Солнце, гля-кошь, куда влезло, почти в обеды.

– Полудновать? Погоди... Скажи на милость, сколько этого репья!.. Битый час гнусь над шерстью.

Соскочил Петр со стола, в печь заглянул. Потные щеки жадно лизнула жарынь.

– Я, батя, достаю щи. Больно оголодал, жрать охота!..

– Ну, тяни, работа потерпит!

Сели за стол, не надевая рубах; не торопясь хлебали щи, сдобренные постным маслом.

Петр покосился на отца, сказал, прожевывая:

– Худой ты стал, будто хворость тебя точит. Не ты хлеб ешь, а он тебя!..

Задвигал скулами, улыбаясь, отец:

– Чудак ты какой! Равняй себя с отцом: мне на Покров пойдет пятьдесят семей, а тебе – семнадцать с маленьким. Старость точит, а не хворь!.. – И вздохнул. – Мать-покойница поглядела бы на тебя...

Помолчали, прислушиваясь к басовитому жужжанию мух. На дворе остервенело забрехала собака. Мимо окна – топот ног. Распахнулась дверь, стукнувшись о чан с вымоченной шерстью, и в землянку вошел задом Сидор-коваль. Шапки не снимая, сплюнул под ноги:

– Ну и кобеля содержите! Норовит, проклятый, не куда-нибудь кусануть, а все повыше ног прицеляется.

– Он сознает, что ты за валенками идешь, а они не готовы, потому и препятствует.

– Я не за валенками пришел.

– А ежели не за ними, то присаживайся вот сюда, на бочонок, гостем будешь!

– В кои веки в гости заглянул, и то на мокрое сажаешь! Не будь, Петруха, таким вредным человеком, как твой батянька!..

Посмеиваясь в кустистую бородавку, присел Сидор около двери на корточки, долго сворачивал негнушимися пальцами сигарку и, закуривая, плямкая губами, пробурчал:

– Ничего не знаешь, дед Фома?

Отец, заворачивая шерсть в мешок, качнул головой, улыбнулся, но в глазах Сидора прощупал острые огоньки радости и насторожился.

– Что такое?

Сквозь пленку табачного дыма проглянуло лицо Сидора, губы по-заячьи ежились в улыбку, глаза суетились под белесыми бровями обрадованно и тревожно.

– Красные жмут, по той стороне к Дону подходят. У нас в станице поговаривают – отступать... Нынче на заре вожусь в своей кузнице, слышу – скачут по проулку конные. Выглянул, а они к кузнице моей бегут. «Кузнец тут?» – спрашивают. «Тут», – говорю. «В два счета чтобы кобылицу подковал, ежели загубишь – плетью запорю!..» Выхожу я из кузницы, как полагается, черный от угля. Вижу – полковник, по погонам, и при нем адъютант. «Помилуйте, говорю, ваше высокородие. Дело я свое до тонкости знаю». Подковал я ихнюю кобылку на передок, молотком стучу, а сам прислушиваюсь. Вот тут-то и понял, что дело ихнее – табак!..

Сидор сплюнул, затоптал ногой сигарку.

– Ну, прощевайте! На свободе забегу покалякать.

Хлопнула дверь, пар за клубился над потными стенами постовальни. Старик долго молчал, потом, руки вытирая, подошел к Петру:

– Ну, Петруха, вот и дождались своих! Недолго казаки над нами будут панствовать!

– Боюсь я, батя, брешет Сидор... Какой раз он нам новости приносит, все вот да вот придут, а ихним и духом вблизи не пахнет...

– Дай время, так запахнет, что казаки и нюхать не будут успевать!

Крепко сжал старик жилистый кулак, румянец чахло зацвел на обтянутых кожей скулах.

– Мы, сынок, с малых лет работаем на богатых. Они жили в домах, построенных чужими руками, ели хлеб, политый чужим потом, а теперича пожалуйте на выкат!..

Едкий кашель брызнул из отцова горла. Молча махнул рукой, сгорбившись и прижимая ладони к груди, долго стоял в углу, возле чана, потом вытер фартуком губы, покрытые розовой слюной, и улыбнулся.

– По двум путям-дороженькам не ходят, сынок! Выпала нам одна, по ней и иди, не вилая, до смерти. Коли родились мы постовалами-рабочими, то должны свою рабочую власть и поддерживать!..

Под пальцами старика струна запела, задрожала тягучими перезвонами. Пыль паутиныстой занавеской запутала окно. Солнце на минуту заглянуло в окошко и, торопясь, покатилося под уклон.

II

На другой день в постовальню пришел офицер и с ним сиделец из станичного правления. Молодой одутловатый хорунжий спросил, щелкая хлыстом по новеньким крагам:

– Ты – Кремнев Фома?

– Я.

– По приказанию станичного атамана и начальника интендантского управления я обязан забрать у тебя весь имеющийся запас готовых валенок. Где они у тебя?

– Ваше благородие, мы с сыном год работали. Ежели вы заберете их, мы подохнем с голоду!..

– Это не мое дело! Я должен конфисковать валенки. У нас казаки на фронте разуты. Я спрашиваю: где они хранятся у тебя?

– Господин хорунжий!.. Ведь не по́том, кровью мы их поливали! Ведь это хлеб наш!..

У хорунжего на прыщавых щеках ползет слизняком ехидная улыбочка. Зубы золотые из-под усов поблескивают.

– Говорят, ты большевик? В чем же дело? Придут красные, они тебе заплатят за валенки!..

Попыхивая папироской, звякая шпорами, шагнул в угол, ручкой хлыста скovyрнул рядно.

– Ага, вот эти самые валенки мы и заберем! Шустров, бери и выноси во двор, подвода сейчас подъедет.

Отец и Петька плечо к плечу стали, собой заслонили сложенные в углу валенки.

Пунцовой яростью вспух хорунжий; роняя с трясущихся губ теплые брызги слюны, но сдерживаясь, прохрипел:

– Я с тобой завтра буду по-иному разговаривать, когда тебя, старую собаку, за шиворот притянут в военно-полевой суд!..

Оттолкнул старого постовала, ногами совал к порогу обглаженные, просушенные валенки. Сиделец брал их в охапку и выбрасывал в настежь открытую дверь.

За плетнем прогромыхала бричка, остановилась у ворот. Из угла пара за парой убывали валенки. Молчал старик, но, когда сиделец мимоходом взял с печки и его приношенные седые валенки, шагнул к нему и неожиданно отвердевшей рукой прижал его к печке. Сиделец с рябым туповатым лицом рванулся – поношенная рубашка мягко расползлась у ворота – и, не размахиваясь, ударил старика в лицо.

Петька вскрикнул, кинулся к отцу, но на полдороге от сильного удара рукоятью нагана в висок упал, вытягивая руки.

Хорунжий вывернул кровью дурной налитые глаза; подскочил к старому постовалу, звонко хлестнул его по щеке:

– Руби его, Шустров!.. Я отвечаю!.. Да бей же, в закон твою мать!..

Сиделец, не выпуская из левой руки валенок, правой потянулся к шашке. Упал старик на колени, голову нагнул, на высохшей коричневой спине задвигались лопатки. Глянул сиделец на седую голову, уроненную до земли, на дряблую кожу старика, обтянувшую костистые ребра, и, пятясь задом, поглядывая на офицера, вышел.

Хорунжий бил старика хлыстом, хрипло, отрывисто ругался... Удары гулко падали на горбатую спину, вспухали багровые рубцы, лопалась кожа, тоненькими полосками сочилась кровь, и без стопа все ниже, ниже к земляному полу падала окровавленная голова постовала...

* * *

Когда очнулся Петька, приподнялся, качаясь, в постовальне никого не было. В распахнутую дверь холодный ветер щедро сыпал блеклые листья тополей, порошил пылью, а возле порога соседская сука торопливо долизывала густую лужицу запекшейся черной крови.

III

Через станицу лежит большой тракт.

На прогоне, возле часовни, узлом сходятся дороги с хуторов, тавричанских² участков, соседних выселков. Через станицу на Северный фронт идут казачьи полки, обозы, карательные отряды. На площади постоянно народ. Возле правления взмыленные лошади нарочных грызут порыжелый от дождей палисадник. В станичных конюшнях интендантские и артиллерийские склады 2-го Донского корпуса.

Часовые кормят разжиревших свиней испорченными консервами. На площади пахнет лавровым листом и лазаретом. Тут же тюрьма. Наспех сделанные ржавые решетки. Возле ворот – охрана, полевая кухня, опрокинутая вверх дном, и телефонная будка.

А по станице, по глухим сплюснутым переулкам вдоль хворостяных плетней, ветреная осень метет ржавое золото листьев клена и кудлатит космы камыша под крышами сараев.

Прошел Петька до тюрьмы. У ворот – часовые.

– Эй ты, малый, не подходи близко!.. Стой, говорят тебе!.. Тебе кого надо?

– Отца повидать... Кремнев Фома по фамилии.

– Есть такой. Погоди, спрошу у начальника.

Часовой идет в будку, из-под лавки выкатывает надрезанный арбуз, медленно режет его пашкой, ест, с хрустом чавкая и сплевывая под ноги Петьке бурые семечки.

Петька смотрит на скуластое, бронзовое от загара лицо, дожидается, пока часовой кончит есть. Тот, размахнувшись, бросает арбузную шляпку в ковыляющую мимо свинью, долго и серьезно смотрит ей вслед и, позевывая, берет телефонную трубку.

– Тут к Кремневу парнишка пришел на свидание. Дозволите пропустить, ваше благородие?

Петька слышит, как в телефонной трубке хрипит чей-то лающий бас, слов не разберет.

– Погоди тут, тебя обыщут!..

Минуту спустя в калитку выходят двое казаков.

– Кто к Кремневу? Ты? Поднимай руки вверх!..

Шарят в Петькиных карманах, щупают рванный картуз, подкладку пиджака.

– Скидай штаны! Ну, сволочь, засовестился... Что ты, красная девка, что ли?..

Калитка хлопает за Петькиной спиной, гремит засов, мимо решетчатых окон идут в комендантскую, и из каждой щели на Петьку смотрят разноцветные глаза.

В длинном коридоре воняет человеческими испражнениями, плесенью. Каменные стены цветут влажным зеленым мхом и гнилыми грибами. Тускло светят жирники. У крайней двери часовой остановился, выдернул засов, пинком ноги распахнул дверь.

– Проходи!

Нащупывая ногами дырявый пол, протягивая вперед руки, идет Петька к стене. Сверху, сквозь малюсенькое окошечко, выдолбленное под самым потолком, просачивается голубой свет осеннего дня.

² Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных, соседних с Крымом (Таврией) мест.

– Петяшка?.. Ты?!

Голос отца стучит перебоями, как у долго болевшего. Рванулся Петька вперед, на полу нащупал босой ногой войлок, присел и молча охватил руками перевязанную отцову голову.

Часовой стоит, прислонясь к растворенной двери, играет ремнем шашки, поет разухабистое «страдание».

Под сводчатым потолком испуганно шарахается эхо. Петькин отец, захлебываясь, сыплет бодрящим смешком, а в круглоглазое окошко с пола видно Петьке, как на воле клубятся бурые тучи и под ними режут небо две станички медноголосых журавлей.

– Два раза вызывали на допрос... Следователь бил ногами, заставлял подписать показания, какие я сроду не давал. Не-ет, Петяха, из Кремнева Фомы дуриком слова не вышибешь!.. Пушай убивают, им за это денежки платят, а с того путя-дороженьки, какой мне на роду нарисован, не сойду.

Петька слышит знакомый сипловатый смешок и с щекочущей радостью вглядывается в опухшее от побоев землисто-черное лицо.

– Ну, а теперя как же? Долго будешь сидеть, батяня?

– Сидеть не буду! Выпустят ноне или завтра... Они меня, сукины коты, за милую душу расстреляли бы, но боятся, что мужики иногородние забастовку сделают... А им это ох как не по нутру!

– Навовсе выпустят?

– Нет. Для пущей видимости назначают суд из стариков нашей станицы. Судить будут сходом... А там поглядим, чья сторона осилит!.. Бабушка Арина надвое сказала!..

Часовой у двери щелкнул пальцами и, притоптывая ногой, крикнул:

– Эй ты, веселый человек, прогоняй сына! Свидание ваше на нынче прикончилось!..

IV

Перед вечером в постовальню к Петьке прибежал соседский парнишка.

– Петро!

– Ну?

– Беги скорейча на сход!.. Отца твоего убивают на площади, возле правления!..

Не надевая шапки, опрометью кинулся Петька на площадь.

Бежал что есть мочи по кривенькому, притаившемуся у речки переулку. Впереди вдоль красноталого плетня маячила розовая рубашка соседского парнишки; ветром запрокидывало у него через голову желтые, выгоревшие под летним солнцепекем пряди волос, около каждого двора верещал пискливый рвущийся голосишко:

– Бегите на площадь! Фому-постовала убивают казаки!..

Из ворот и калиток выбегали кучки ребятишек, дробно топотали по переулку босыми ногами.

Когда подбежал к правлению Петька, на площади никого не было, переулки и улицы всасывали уходящих людей.

Возле ворот поповского дома толстая попадья, приложив к глазам руку лодочкой, смотрит на бегущего Петьку. У попадьи на ситцевое платье накинута шаль, в тонких ехидных губах застряла недоумевающая улыбочка. Постояла, глядя вслед Петьке, почесала ногою толстую, студнем дрожащую икру и повернулась к дому.

– Феклуша, где же постовала бьют?

– И вот тебе крест! Своими глазыньками видала, матушка, как его били!.. – По порожек крыльца зашлепали шаги. К попадье, ковыляя, подбежала кривая кухарка, махая руками, захлебнулась визгливым голосом: – Гляжу я, матушка, а его ведут из тюрьмы на сходку. Казаки шум приподняли, ему хоть бы что! Идет, старый кобель, и ухмыляется, а сам собой весь чер-

ный до ужаси!.. Его еще допрежде господ офицеры били... Подвели его к крыльцу и как начнут бить, только слышу – хрясь!.. хрясь!.. – а он как заревет истошным голосом, ну, тут его и прикончили... кто колом, кто железякой, а то все больше ногами.

С крыльца правления, вихляя задом, сошел станичный писарь.

– Иван Арсеньевич, подите на минуточку!

Писарь одернул широчайшие галифе и мелким шагом, любуясь начищенными носками сапог, направился к попадье. Не дойдя шагов восемь, перегнул назад сутулую спину и, стараясь подражать интендантскому полковнику, небрежно приложил два пальца к козырьку фуражки.

– Добрый день, Анна Сергеевна!

– Здравствуйте, Иван Арсеньевич! Что это у вас за убийство было?

Писарь презрительно оттопырил нижнюю губу:

– Постовала Фому убили казаки за принадлежность к большевизму.

Попадья передернула пухлыми плечами и простонала:

– Ах, какие ужасы!.. Неужели и вы принимали участие в этом убийстве?

– Да... как сказать... Знаете ли, когда начали его, мерзавца, бить, а он, лежа на земле, кричит: «Убейте, от советской власти не отступлюсь!» – тут, конечно, я его ударил сапогом – и сожалею, что связался. Одна неприличность только... сапог и брюки в кровь измарал...

– Я не воображала, что вы такой жестокий человек!

Попадья, прищутив глазки, улыбалась франтоватому писарю, а у крыльца правления Петька присел на мокрый от крови песок и, окруженный цветной ватагой ребятишек, долго смотрел на бесформенно-круглый кровавый ком...

V

Летят над станицей журавли, сыплют на заолодавшую землю призывные крики. Из окошка постовальни смотрит, часами не отрываясь, Петька.

Пришел в постовальню Сидор-коваль, поглядел, как промеж двух кирпичей растирает Петька зерна кукурузы, вздохнул:

– Эх, сердяга, страданье сколько ты принимаешь!.. Ну ничего, не падай духом, скоро придут наши, легче будет жить! А завтра беги ко мне, я те муки меры две всыплю.

Посидел, нацедил сквозь прокуренные зубы сизую лужу махорочного дыма, наплевал возле печки и ушел, вздыхая и не прощаясь.

А легче пожить ему не довелось. На другой день перед закатом солнца шел через площадь Петька; из ворот тюрьмы выехали два казака верхами, между ними в длинной, ниже колен, холщовой рубахе шел Сидор. Ворот расшматован до пояса, в прореху видна обросшая курчавыми и жесткими волосами грудь.

Поравнялся с Петькой и, сбиваясь с ноги, голову к нему обернул:

– На распыл меня ведут, Петенька, голубчик, прощай! – Рукой махнул и заплакал...

Как в тяжелом, удушливом сне таяло время. Завшивел Петька, желтые щеки обметало волокнистым пушком, выглядел старше своих семнадцати лет.

Плыли-плыли, уплывали спеленатые черной тоскою дни. С каждым днем, уходившим за околицу вместе с потускневшим солнцем, ближе к станице продвигались красные: пухла, водянойкой разливалась тревога в сердцах казаков.

Утром, когда выгоняли бабы коров на прогон, слышно было, как бухали орудия за Щегольским участком. Глухой гул метался над дворами, задремавшими в зеленой утренней мгле, тыкался в саманные стены постовальни, ознобом тряс слюдяные оконца. Слезал Петька с печки, накидывая зипун, выходил во двор, ложился около сморщенной старушонки-вербы на землю, скованную незастаревшим, тоненьким ледком, и слушал, как от орудийных залпов

охала, стонала, кряхтела по-дедовски земля, а за кучей сгрудившихся тополей, смешиваясь с грачиным криком, захлебываясь, стрекотали пулеметы.

Вот и нынче вышел Петька во двор раньше раннего, прижался ухом к мерзнувшей земле, обжигаясь липким холодком, слушал. Сонно бухали орудия, а пулеметы бодро, по-молодому выбивали в морозном воздухе глухую чечетку:

– Та-та-та-та-та...

Сначала пореже, потом чаще, минутный перебой – и снова еле слышное:

– Та-та-та-та-та...

Чтобы не мерзли колени, подложил Петька под ноги полу зипуна, прилег поудобнее, а из-за плетня простуженный голосок:

– Музыку слушаешь, паренек? Музыка занятная...

Дрогнул Петька, вскочил на корточки, а через плетень сверлят его из-под клочковатых бровей стариковские глаза, в бороде пожелтелой хоронится ухмылочка.

Угадал Петька по голосу деда Александра, Четвертого по прозвищу. Сказал сердито, стараясь переломить в голосе дрожь:

– Иди, дед, своей дорогой! Твое дело тут вовсе не касается!..

– Мое-то не касается, а твое, видно, касается?

– Не цепляйся, дед, а то пужану в тебя вот этим каменюкой, после жалиться будешь!

– Больно прыток! Прыток больно, говорю! Я тебя, свистуна, костылем могу погладить за такое к старику почтение!..

– Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь!..

– Сопля ты зеленая, по-настоященски ежели разбираться, а тоже щетинишься!

Взялся дед за колья плетня и легко перекинул через огорожу сухое, жилистое тело. Подошел к Петьке, оправляя изорванные полосатые порты, присел рядышком.

– Пулеметы слышать?

– Кому слышать, а кому и нет...

– А мы вот послушаем!..

Петька, скосившись, долго глядел на растянувшегося плашмя деда, потом нерешительно сказал:

– За вербой ежели прилечь, дюжей слышно.

– Послушаем и за вербой!

Переполз дед на четвереньках за вербу, обнял оголенные коричневые корни руками, на корни похожими, и минуты на две застыл в молчании.

– Занятно!.. – Привстал, отряхая с колен мохнатый иней, и повернулся к Петьке лицом. – Ты, малец, вот что: я наскрозь земли могу все видать, а тебя с полету вижу, чем ты и дышишь. Слушать эту музыку мы можем до бесконечности, но мы с сыном не то надумали... Знаешь ты мово Яшку? Какого за большевизму пороли нашенские казаки?

– Знаю.

– Ну, так мы с ним порешили навстречу красным идтить, а не ждать, покель они к нам припожалуют!..

Нагнулся дед к Петьке, бородой щекочет ухо, дышит кислым шепотком:

– Жалко мне тебя, паренек. Вот как жалко!.. Давай уйдем с нами отсель, расплюемся с Всевеликим войском Донским! Согласен?

– А не брешешь ты, дед?

– Молод ты мне брехню задавать! По-настоященски выпороть тебя за такие подобные!.. Одна сучка брешет, а я вправду говорю. Мне с тобой торговаться вовсе без надобности, оставайся тут, коли охота!.. – И пошел к плетню, мелькая полосатыми портами.

Петька догнал, уцепился за рукав:

– Погоди, дедушка!..

– Неча годить. Желаеть с нами идтить – в добрый час, а нет, так баба с возу – кобыле легче!..

– Пойду я, дедушка. А когда?

– Про то речь после держать будем. Ты заходи нынче к нам ввечеру, мы на гумне с Яшкой будем.

VI

Александр Четвертый испокон века старичишка забурунный, во хмелю дурной, а в трезвом виде человек первого сорта. Фамилии его никто не помнит. Давненько, когда пришел со службы из Иваново-Вознесенска, где постоем стояла казачья сотня, под пьянку заявил на станичном сходе старикам:

– У вас царь Александр Третий, ну, а я хоть и не царь, а все-таки Александр Четвертый, и плевать мне на вашего царя!..

По постановлению схода лишили его казачьего звания и земельного пая, всыпали на станичном майдане пятьдесят розог за неуважение к высочайшему имени, а дело постановили замять. Но Александр Четвертый, натягивая штаны, низко поклонился станичникам на все четыре стороны и, застегивая последнюю пуговицу, сказал:

– Премного благодарствую, господа старики, а только я этим ничуть не напужанный!..

Станичный атаман атаманской насекой стукнул:

– Коли не напуженный – еще подбавить!..

После подбавления Александр не разговаривал. На руках его отнесли домой, но прозвище Четвертый осталось за ним до самой смерти.

Пришел Петька к Александру Четвертому перед вечером. В хате пусто. В сенцах муругая коза гложет капустные кочерыжки. По двору прошел к гумнным воротцам – открыты настежь. Из клуни простуженный голосок деда:

– Сюда иди, паренек!

Подошел Петька, поздоровался, а дед и не смотрит. Из камня мастерит молотилку, рубцы выбивает, стоя на коленях. Брызжут из-под молота ошкребки серого камня и зеленоватые искры огня. Возле веялки сын деда, Яков, головы не поднимая, хлопчет, постукивает, прибавая к бортам оборванную жесть.

«К чему хозяйствуют-то, в зиму глядя?» – подумал Петька, а дед стукнул последний раз молотком, сказал, не глядя на Петьку:

– Хотим оставить старухе все хозяйство в справности. Она у меня бедовая, чуть что – крику не оберешься! Может, кинул бы свою справу как есть, но опасаюсь, что нареканий много будет. Ушли такие-сякие, скажет, а дома хоть и травушка не расти!..

Смеются у деда глаза. Встал, похлопал Петьку по шее, сказал Якову:

– Кончай базар, Яша! Давай вот с постоваловым сынком потолкуем насчет иного-прочего.

Выплюнул Яков изо рта на ладонь мелкие гвоздочки, которыми жесть на веялке прибавал, подошел к Петьке, губы в улыбку растягивая:

– Здорово, красненький!

– Здравствуй, Яков Александрович!

– Ну как, надумал с нами уходить?

– Я вчера деду Александру сказал, что пойду.

– Этого мало... Можно с дурной головой собраться в ночь, и прощай станица! А надо памятку по себе какую-нибудь оставить. Очень мы много добра от хуторных видели! Батю секли, меня за то, что на фронт не согласился идтить, вовсе до смерти избили, твоего родителя... Эх, да что и гутарить!

Нагнулся Яков к Петьке совсем близко, забурчал, ворочая нависшими круглыми бровями:

– Про то знаешь ты, парнище, что они, кадеты то есть, артиллерийский склад устроили в станичных конюшнях? Видал, как туда тянули снаряды и прочее?

– Видал.

– А к примеру, ежели их поджечь, что оно получится?

Дед Александр толкнул Петьку локтем в бок, улыбнулся:

– Жу-уть!..

– Вот папаша мой рассуждает: жуть, говорит, и прочее, а я по-иному могу располагать. Красненькие под Щегольским участком находятся?

– Крутенький хутор вчера заняли, – сказал Петька.

– Ну вот, а ежели, к тому говорится, сделать тут взрыв и лишить казачков харчевого припасу, а также и военного, то они будут отступать без огляду до самого Донца! Во!..

Дед Александр разгладил бороду и сказал:

– Завтра, как толечко начнет смеркаться, приходи к нам на это самое место... Тут нас подождешь. Прихвати с собой, что требуется в дорогу, а за харч не беспокойся, мы своово приготвим.

Пошел Петька к гуменным воротцам, но дед вернул его:

– Не иди через двор, на улице люди шалаются. Валяй через плетень, степью... Опаска, она завсегда нужна!

Перелез Петька через плетень, канаву, задернутую пятнистым ледком, перемахнул и мимо станичных гумен, мимо седых от инея, нахмуренных скирдов зашагал к дому.

VII

Ночью с востока подул ветер, повалил густой мокрый снег. Темнота прижухла в каждом дворе, в каждой переулке. Кутаясь в отцовский зипун, вышел Петька на улицу, постоял возле калитки, прислушался, как над речкой гудят вербы, сгибаясь под тяжестью навалившегося ветра, и медленно зашагал по улице ко двору Александра Четвертого. От амбара, из темноты, голос:

– Это ты, Петро?

– Я.

– Иди сюда, левой держи, а то тут бороны стоят. – Подошел Петька, у амбара дед Александр с Яковым возятся.

Собрались. Дед перекрестился, вздохнул и зашагал к воротам.

Дошли до церкви. Яков, сипло покашливая, прошептал:

– Петруха, ты, голубь мой ясный, неприметнее и ловчее нас... тебя не заметят... Ползи ты через площадь к складам. Видал, где ящики из-под патронов вблизи стены сложенные?

– Видал.

– На тебе трут и кресало, а это конопля, в керосине смоченные... Подползешь, зипуном укройся и высекай огонь. Как конопля загорится, клади промеж ящиков и гайда... к нам. Ну, трогай. Да не робей! Мы тебя тут ждать будем.

Дед и Яков присели около ограды, а Петька, припадая животом к земле, обросшей лохматым пушистым инеем, пополз к складам.

Петькин зипунишко прощупывает ветер, холодок горячими струйками ползет по спине, колет ноги. Руки стынют от земли, скованной морозом. Ощупью добрался до склада. Шагах в пятнадцати красным угольком маячит сигарка часового. Под тесовой крышей сарая воет ветер, хлопает оторванная доска. Оттуда, где рдеет уголек сигарки, ветер доносит глухие голоса.

Присел Петька на корточки, закутался с головой в зипун. В руке дрожит кресало, из пальцев изыбших выскакивает трут.

Черк!.. Черк!.. Еле слышно черкает сталь кресала о края кремня, а Петьке кажется, что стук слышен по всей площади, и ужас липкой гадюкой перевивает горло. В намокших пальцах отсырел трут, не горит... Еще и еще удар, задымилась багряная искорка, и светло и нагло пыхнул пук конопли. Дрожащей рукой сунул под ящики, мгновенно уловил запах паленого дерева и, приподнимаясь на ноги, услышал топот ног, глухие, стрянувшие в темноте голоса:

– Ей-богу, огонь! А-а-а, гляди!!!

Опомнившись, рванулся Петька в настороженную темь, вслед ему грохнули выстрелы, две пули протянули над головой полоски тягучего свиста, третья брунжанием забороздила темноту где-то далеко вправо. Почти добежал до ограды. Позади надсадно кричали:

– По-жа-ар!.. По-жа-ар!.. – Стукали выстрелы.

«Только бы до угла добежать!» – трепыхается мысль в голове у Петьки.

Напряг все силы, бежит. Колючий звон режет уши. «Только бы до ограды!..»

Горячей болью захлестнуло ногу, ковыляя, пробежал несколько шагов, ниже колена по ноге ползет теплая мокреть... Упал Петька, через секунду вскочил, попрыгал на четвереньках, путаясь в полах зипуна.

Долго сидели дед с Яковом. Ветер турсучил в ограде привязанную к большому колоколу веревку и, раскачивая языки у маленьких колоколов, разноголосо и тихо вызванивал.

В темноте, возле складов, застывших посреди площади сутулыми буграми, сначала глухие, изорванные ветром голоса, потом рыжим язычком лизнул темноту огонь, хлопнул выстрел, другой, третий... У ограды топот, прерывистое дыхание, голос придушенный:

– Дедушка, помоги!.. Нога у меня...

Дед с Яковом подхватили Петьку под руки, с разбегу окунулись в темный переулок, бежали, спотыкались о кочки, падали. Миновали два квартала, когда с колокольни сорвался набат, звонко хлестнул тишину и расплескался над спящей станицей.

Рядом с Петькой дед Александр хрипит и суетливо вскидывает ногами. Петькины щеки щекочет его разметающаяся борода.

– Батя, в сады!.. В сады держите!..

Перескочили канаву и остановились, переводя дух.

Над станицей, над площадью – словно треснула пополам земля. Прыгнул выше колокольни пунцовый столбище огня, густо за клубился дым... Еще и еще взрыв...

Тишина, а потом разом по всей станице взвыли собаки, снова грохнул онемевший было набат, истошный бабий крик повис над дворами, а на площади желтое волнистое полымя догола вылизывает рухнувшие стены складов и, длиннорукое, тянется к поповским постройкам.

Яков присел за нагим кустом терна, сказал потихоньку:

– Убегать теперь совсем невозможно. По станице хоть иголки собирай, ишь как полыхает!.. Да и ногу Петяшкину надо бы поглядеть...

– Надо подождать зари, пока не угомонится народ, а потом будем продвигаться до казенных лесов.

– Довольно пожилой вы человек, батя, а располагаете промеж себя, как дите! Ну мыслимо ли это дело – ждать в станице, когда кругом нас теперя ищут? Опять ежели домой объявиться, то нас сразу сбавуют. Мы в станице первые на подозрении.

– Оно так... Ты верно, Яша, говоришь.

– Может, в нашем дворе, в катухе переднем? – морщась от боли, спросил Петька.

– Ну, это подходящее. Там рухлядь есть какая?

– Кизяки сложены.

– Потихоньку давайте трогаться!.. Батя, и куда вы лезете передом? Шли бы себе очень спокойно позаду!

VIII

К утру в прикладке кизяков Яков с Петькой вырыли глубокую яму; чтобы теплее было, застелили ее снизу и с боков сухим бурьяном, спустились туда, а верх заложили сухой повителью, арбузными плетями, свезенными с бахчей для топки.

Яков порвал на себе исподнюю рубаху и перевязал Петьке простреленную ногу. Сидели втроем до самого вечера. Утром во двор приходили люди. Слышен был глухой разговор, лязг замка, потом голос совсем неподалеку сказал:

– Постовалов парнишка, должно, на хуторе работает. Брось, браток, замок выворачивать! На кой он тебе ляд? У постовала в хате одни воши да шерсть, там дюже не разживешься!..

Шаги заглохли где-то за сараем.

Ночью ахнул мороз. С вечера слышно было, как лопалась на проулке земля, с осени щедро набухшая влагой. По небу, запорошенному хлопьями туч, засуетился в ночном походе кособокий месяц. Из темно-синих круговин зазывно подмаргивали звезды. Сквозь дырявую крышу ночь глядела в катух.

В яме под кизяками тепло. Дед Александр, уткнув подбородок в колени, спит, всхрапывая и шевеля ногами. Петька и Яков разговаривают вполголоса.

– Батя, проснись! Когда вы разгуляете сон? В путь пора!

– Ась? В путь пора? Можно...

Долго и осторожно разбирали кизяки. Слегка приоткрыли дверь – на дворе, по проулку ни души.

Миновали крайний двор в станице, через леваду вышли в степь. До яра саженой сто ползли по снегу. Позади станица с желтыми веснушками освещенных окон пристально смотрит в степь. По яру до казенного леса шли тихо, осторожно, словно на зверя. Звенел под ногами ледок, снег поскрипывал. Голое каменистое днище яра кое-где запруживалось сугробом, по нему – голубые петли заячьих следов.

Яр одной отнужиной упирается в опушку казенного леса. Выбрались на пригорок, поглядели вокруг и не спеша потянулись к лесу.

– До Щегольского нам опасно идти не узнавши. Скоро фронт откроется – можем попасть к белым.

Яков, вбирая голову в растопыренные полы полушубка, долго высекал кресалом огонь. Сыпались огненные капли, сухо черкала сталь о кремь. Трут, натертый подсолнечной золой, зарделся и вонюче задымил. Яков два раза затянулся, ответил отцу:

– Я так полагаю: давайте зайдем к лесничему Даниле, как он есть наш прекрасного знакомства человек. У него узнаем, как нам пройти через позиции, да кстати и Петяшку малость обогреем, а то он у нас замерзнет вчистую!

– Мне, Яков Александрович, не дюже зябко.

– Молчи уж, не брешь, парнишка! Зипун-то твой не от холода построенный, а от солнышка.

– Трогай, Яша, трогай, сынок!.. Смотри, куда Стожары поднялись, скоро полночь, – сказал дед.

Саженой полсотни не доходя до лесной сторожки, остановились... У лесника Данилы в окошке огонь, видно, как из трубы лениво ползет дымок. Месяц повис над лесом, неловко скособочившись.

– Должно, никого нет. Пойдемте.

Под сараем забрехала собака. Обмерзшие порожки крыльца скрипят под ногами. Постучались.

– Хозяин дома?

Из сторожки к окну прилипла чья-то борода.

– Дома. А кого Бог принес?

– Свои, Данила Лукич, пушай за-ради Христа обогреться!

В сенцах пискнула дверь, засов громыхнул. На пороге стал лесничий, из-под правой руки глядит на гостей, а в левой винтовку за спину хоронит.

– Никак, ты, дед Александр?

– Он самый... Пушай переночевать-то?

– Кто его знает... Ну да проходите, небось уместимся!

В комнатухе жарко натоплено. Возле печи на разостланной полсти лежат трое – в головах седла, в углу винтовки. Яков попятился к двери.

– Кто это у тебя, хозяин?

С полсти голос:

– Аль не узнал станишников? А мы вас со вчерашнего дня поджидаем. Думаем, все одно им казенного леса и Даниловой сторожки не миновать... Ну, раздевайтесь, дорогие гостечки, переночуем, а завтра без пересадки направим вас на царевы качели!.. Давно по вас веревонька плачет!..

Привстали казаки с полсти, за винтовки взялись.

– Вяжи поджигателям руки, Семен!..

IX

Двое спят на постели, третий сидит за столом, свесив голову; промеж ног у него винтовка. Лесник Данила кинул на пол дерюгу.

– Постели, дед Александр, все костям вольготнее будет!

– Смотри, жалостливый человек, как бы самому на ней спать не пришлось!.. Слышь, лесник? Возьми дерюгу!.. Они склады спалили, за такие дела и на морозе рядом с хозяйской сукой поспать не грех!..

Перед зарей запросился дед на двор:

– Пусти, сынок, сходить требуется по надобности...

– Ничего, дед, мочись в штаны либо в валенок!.. Завтра подвесим тебя на перекладину, там просохнешь!

В окна царапался немощный зимний рассвет. Встали казаки, умылись, сели завтракать. Яков неприметно шепнул отцу и Петьке:

– Бечевку я перетер ночью... Как дойдем до станицы – все врозь, – в леваду, а оттель в гору... в норы, откуда мы камень рыли... Тамотка сроду не возьмут нас!..

Шли связанные конопляной веревкой все трое за руки. Петька припадал на раненую ногу, скрипел зубами от ноющей боли.

Вот и станица, разметавшая по краям седые космы левад, словно баба в горячке. Когда свернули в первый проулок, Яков с перекошенным, побелевшим ртом рванул веревку и, виляя по снегу, кинулся в левады. Дед Александр и Петька следом. Все врозь. Сзади крик:

– Стой, стой, в заразу мать!..

Выстрелы и топот конских ног. Петька, перепрыгивая канаву, оглянулся: дед Александр упал, зарываясь простреленной головой в сугроб, и высоко взбрыкнул ногами.

Гора с верхушкой, опоясанной снегом, бежит навстречу. Глазными впадинами чернеют ямы, откуда казаки добывали камень. Яков нырнул первым, за ним Петька.

Извиваясь, обрывая одежду, царапая до крови тело об острые уступы, ползли в сырой, придавленной темноте. Иногда Петьку больно били по голове сапоги Якова. Нора раздвоилась, поползли налево. Петькины ладони в мерзлой глине, сверху за шиворот сочится вода.

Яма под ногами. Спустились и сели рядом.

– Горе мне!.. Батю, должно, убили, – прошептал Яков.

– Упал он возле канавы...

Глохнут, будто чужие, голоса. Темь липнет на веки.

– Ну, Петька, теперь они нас измором будут брать. Пропадем мы, как хорь в норе, а впрочем, кто его знает!.. Лезть к нам они побоятся. Эти норы мы с батей рыли еще до германской войны. Я все ходы знаю... Давай полозть дальше.

Ползли. Иногда упирались в тупик. Сворачивали назад, другую тропку искали...

* * *

В густой, вязкой тьме жались двое суток.

Тишина звенела в ушах. Почти не разговаривали. Спали, чутко прислушиваясь. Где-то вверху буравила землю вода. Просыпались, опять спали...

Потом, тыкаясь в стены, как слепые щенки, полезли к выходу. Долго блуждали, и внезапно больно и ярко стегнул по глазам свет.

У входа в каменную пещеру ворох серой золы, окурки, патронные гильзы, следы многих и многих человеческих ног, а когда выглянули – увидели: по дороге к станице на лошадях с куче подрезанными хвостами змеилась конница, серым клубом позади валила пехота, ветер полоскал малиновое знамя и далеко нес голоса, хохот, команду, скрип полозьев.

Выскочили. Бежали, падали. Яков махал руками и кричал высоким надорванным голосом:

– Братцы! Красненькие! Товарищи!..

Конница сгрудилась на дороге гнедой кучей лошадей.

Сзади напирала захлюстанная пехота.

Яков тряс головой, всхлипывая, кидался целовать стремяна и кованные сапоги красноармейцев, а Петьку подхватили на руки, жмякнули в сани, в ворох духовитого степного сена, накрыли шинелями.

Покачиваются сани. Шинели пахнут родным кислым потом, как отцова рубаха когда-то пахла...

Кружится голова у Петьки, тошнотой наливается грудь, а в сердце, как жито майское после дождя, цветет радость. Чья-то рука приподняла шинель, нагнулось к Петьке безусое обветренное лицо, улыбка ползет по губам.

– Живой, дружище? А сухари потребляешь?

Суют Петьке в непослушный рот жеванные сухари, колючими варежками трут обмерзшие Петькины пальцы. Хочет он что-то сказать, но во рту ржаное месиво, а в горле комом стрянут слезы.

Поймал жесткую черную руку и к груди прижал крепко-накрепко.

Часть вторая

I

Дом большой, крытый жестью, на улицу – шесть веселых окон с голубыми ставнями. Раньше станичный атаман жил, а теперь клуб ячейки РКСМ помещается. Год тысяча девятьсот двадцатый, нахмуренный, промозглый сентябрь, ночная темень в садах и в проулках.

В клубе собрание, чад, гул голосов. За столом секретарь ячейки Петька Кремнев, рядом член бюро Григорий Расков. Решается важный вопрос: показательная обработка земли, отведенной земотделом для ячейки.

Через полчаса – кусок протокола:

«Слушали: доклад т. Раскова об отмере земли на участке Крутеньком.

Постановили: выделить для немедленного осмотра и отмера земли тт. Раскова и Кремнева».

Потушили лампу. Дробно застучали ногами по крыльцу. Петька постоял около угла и, глядя, как в млечной темноте покачивается белая рубаха Раскова, крикнул в гулкую тишину задремавшей станицы:

– Гришка, слышь? Люди-то пашут, про обывательскую подводу и думать забудь! Пешком пойдем!

II

Чахоточная зорька. По утрамбованной дороге недавно прошел табун. Пыль повисла на верхушках степной полыни. На бугре пахота. На ней копошатся люди, ползают запряженные в плуги быки. Ветер крутит крики погоньчей, свист и щелканье кнутов.

Ребята шагали молча. Солнце в полдень – подошли к участку. Десяток тавричанских дворов застрял в степной балке. Около плотины баба, подоткнув подол, шлепает вальком. С той стороны в воду по пузо залезли цветные коровы. Приподняв уши, с дурацким видом долго смотрели на ребят. Передняя, чего-то испугавшись, дико задрала хвост и шарахнулась на плотину, за ней рванулось все стадо. Пронзительно защелкал арапником седобородый пастух; подпасок, мелькая черными пятками, побежал заворачивать. На гумне под отрывистый стук паровой молотилки певучий девичий голос прокричал:

– Гарпишка, ходим подывимось – якись-то красни до нас прийшли!..

До вечера искали ребята участкового председателя, ели на квартире душистые дыни, а землю порешили смотреть завтра. Хозяйка постелила им в сенцах. Григорий уснул сразу, а Петька долго ворочался, ловил под овчинной шубой блох, думал: какую землю отведет шельмоватый председатель?

В полночь хозяин стукнул щеколдой, глянул с крыльца на звездное небо и направился в конюшню замесить лошадям. Заскрипел колодезный журавль, в степи призывно-протяжно заржал жеребенок. Со двора глухо доносились голоса. Петька проснулся.

Григорий во сне скрипнул зубами, поворачиваясь на другой бок, произнес печально и внятно:

– Смерть – это, братец, не фунт изюму!..

В сенцы, стуча сапогами, вошел председатель.

– Хлопцы, а хлопцы, чуете?

– Ну?

– Чума його знае... Зараз приихав с Вежинского хутора наш участковец, так каже, що той хутор Махно забрав. Це треба вам, хлопцы, тикаты!..

Петька буркнул спросонок:

– Ну, а земля как же? Отмерь завтра участок, тогда уж пойдем, а то что ж задарма ноги бить!

Снится зарею Петьке, что он в райкоме на собрании, а по крыше кто-то тяжело ступает, и жесть, вгибаясь, ухает: гу-у-ух!.. ба-а-ах!..

Проснулся – смекнул: орудийный бой. Тревожно сжалось сердце. Наспех собрались, приваляли деревянную сажень и, отмахиваясь от взбеленившихся собак, вышли за участок.

– Сколько до Вежинского верст? – спросил Григорий.

Вышагивал он молча, задумчиво обрывал лепестки на пунцовой головке придорожного татарника.

– Верстов, мабуть, тридцать.

– Успе-е-ем!

Минуя бахчи, поднялись на пригорок. Петька уронил подсумок с патронами, обернулся поднять – и ахнул: с той стороны участка стройными колоннами спускались всадники. У переднего, ветром подхваченное, как подшибленное крыло птицы, трепыхалось черное знамя.

– Ах, мать твою!..

– Бог любил! – подсказал Григорий, а у самого прыгали губы и серым налетом покрылось лицо.

Председатель уронил сажень, сам не зная для чего полез в карман за кисетом. Петька стремительно скатился в балку, Григорий за ним.

Странно путаются непослушные ноги, бег черепаший, а сердце колется на части, и зноем наливается рот. На дне водой промытой балки сыро. Пахнет илом, вязнут ноги. Петька на бегу смахнул сапоги и половчее перехватил винтовку; у Григория зеленью покрылось лицо; губы свело, дыхание рвется с хрипом. Упал и далеко отшвырнул винтовку.

– Бросай, Петя, поймают – убьют!.. – Петьку передернуло.

– Ты с ума сошел?! Возьми скорее, сволочь! – Григорий вяло потянул винтовку за ремень. Минуту сверлили друг друга тяжелыми, чужими глазами.

Снова бежали. У конца балки Григорий запрокинулся на спину. Скрипнул Петька зубами, схватил под мышки сухопарое тело товарища и потащил волоком. Балка разветвилась, отnojина с лошадиными костями и седой полынью уперлась прямо в пахоту. Около арбы дядько запрягает в плуг лошадей.

– Лошадей до станицы!.. Махновцы догоняют!

Схватился Петька за хомут, дядько – за Петьку.

– Не дам!.. Кобыла сжеребена, куда на ней йихаты?!

Крепкий дядько корявыми пальцами цепко прирос к стволу, и мелькнула у Петьки мысль: вырвет винтовку, убьет за жеребую кобылу.

Впитал в себя страшные колючие глаза, рыжую щетину на щеках, мелкую дрожь около рта и рванул винтовку. Звонко лязгнул затвором.

– Уйди!

Нагнулся дядько за топором, что лежал около арбы, а Петька, чувствуя липкую тошноту в горле, стукнул по крутому затылку прикладом. Ноги в морщенных сапогах, как паучьи лапки, судорожно задвигались...

Григорий обрубил постромки и вскочил на кобылу. Под Петькой заплясал серый в яблоках тавричанский мерин. Поскакали пахотой на дорогу. Дружно заговорили копыта. Глянул Петька назад, а над балкой ветер пылицу схватывает. Рассыпалась погоня – идет во весь дух.

Верст пять смахнули, те все ближе. Видно, как передняя лошадь с задранной головой бросками кидает назад сажени, а у всадника вьется черная лохматая бурка.

Кобыла под Григорием заметно сдавала ход, хрипела и коротко, отрывисто ржала.

– Жеребиться кобыла будет... Пропал я, Петя! – крикнул сквозь режущий ветер Григорий.

На повороте около кургана соскочил он на ходу, лошадь упала. Петька сгоряча проскакал несколько сажень, но опомнился и круто повернул назад.

– Что же ты?! – плачущим голосом крикнул Григорий, но Петька уверенно и ловко загнал обойму, прыгнул с лошади, приложился с колена, выстрелил в черную надвигающуюся бурку и, выбрасывая гильзу, улыбнулся.

– Смерть – это, брат, не фунт изюму! – Выстрелил еще раз. На дыбы встала лошадь, черная бурка сползла на землю, застрял сапог в стремени, и лошадь бездорожно помчалась в клубах пыли.

Проводил ее Петька невидящим взглядом и, широко расставив ноги, сел на дорогу. Григорий, растирая в потных ладонях душистую головку чабреца, дико улыбнулся.

Петька проговорил серьезно и тихо:

– Ну, теперь шабаш, – и лег на землю вниз лицом.

III

Во дворе исполкома сотрудники зарывали зашитые в мешки бумаги. Председатель Яков Четвертый на крыльце чинил заржавленный убогий пулемет. С утра ждали милиционеров, уехавших на разведку. В полдень Яков подозвал бежавшего мимо комсомольца Антошку Грачева, улыбнулся глазами, сказал:

– Возьми в конюшне лошадь, какая на вид справней, и скачи на Крутенький участок. Может, повстречаешь нашу разведку – передашь, чтобы вертались в станицу. Винтовка у тебя есть?

Антошка мелькнул босыми пятками, крикнул на бегу:

– Винтовка есть, и двадцать штук патрон!

– Ну, жарь, да поживее!

Через пять минут со двора исполкома вихрем вырвался Антошка, сверкнул на председателя серыми мышастыми глазенками и заklubился пылью.

С крыльца исполкома видно Якову равномерно покачивающуюся лошадиную шею и непокрытую курчавую голову Антошки. Постоял на порожах, вошел в коридор, изветвленный седой паутиной. Сотрудники и ячейка в сборе. Окинул всех усталыми глазами, сказал:

– Антошка пыхнул на разведку... – Помолчал, добавил, задумчиво барабаня пальцами: – А ребята на участке... уйдут от Махна, нет ли?..

Бродили по гулким, опустелым комнатам исполкома, читали тысячу раз прочитанные частухи Демьяна Бедного на полинявших плакатах. Часа через два во двор исполкома на рысях вскочили ездившие в разведку милиционеры. Не привязывая лошадей, взбежали на крыльцо. Передний, густо измазанный пылью, крикнул:

– Где председатель?

– Вот он идет. Ну как, видали? Много их? На колокольне отсидимся?..

Милиционер безнадежно махнул плетью.

– Мы наткнулись на их головной эскадрон... Насилу ноги унесли! Всего их тысяч десять. Прут, будто галь черная.

Председатель, морща брови, спросил:

– Антошку не встречали?

– Мы не узнали, кто это, а видно было, как за Крутым логом в степь правился один верховой. Должно, к Махну попал...

Стояли плотной кучей, перешептывались. Председатель дернул лохматую бороду, выдавил откуда-то из середины:

– Ребятенки, какие землю пошли отмерять на участок, явно пропали... Антошка тоже... Нам придется хорониться в камыше... Против Махна мы ничтожество...

Продагент рот раззявил, хотел что-то сказать, но в двери упало тревожно и сухо:

– Ходу, товарищ! На бугре – кавалерия!..

Как ветром сдуло людей. Были – и нету! Станица вымерла. Закрылись ставни. Над дворами расплескалась тишина, лишь в бурьяне, возле исполкомовского плетня, надсадно кудахтала потревоженная кем-то курица.

IV

Ветер хлопающим пузырем надул на Антошкиной спине рубашку. Без седла сидеть больно. Рысь у коня тряская, не шаговитая. Придержал поводья, на гору из Крутого лога стал подниматься и неожиданно в версте от себя увидел сотню конных и две тачанки позади. Шарахнулась мысль: «Махновцы!»

Задернул коня, по спине колкий холодок, а конь, как назло, лениво перебирает ногами, не хочет со спокойной рыси переходить в карьер.

Его увидали, заулюлюкали, стукнули дробью выстрелов. Ветер хлещет в лицо, слезы застилают глаза, в ушах режущий свист. Страшно повернуть назад голову. Оглянулся только тогда, когда проскакал окраинные дворы станицы. На ходу соскочил с лошади, пригибаясь, побежал к ограде. Подумал: «Если бежать через площадь – увидят, догонят... В ограду, на колокольню!..»

Тиская в левой руке винтовку, правой толкнул калитку, зашуршал босыми ногами по усыпанной листьями земле. Церковная витая лестница. Запах ладана и затхлой ветхости, голубиный помет.

На верхней площадке остановился, лег плашмя, прислушался. Тишина. По станице петушиные крики.

Положил рядом с собой винтовку, снял подсумок, отер со лба липкую испарину. В голове мысли в чехарду играют: «Все равно меня убьют – буду в них стрелять... Петька Кремнев сказал как-то: Махно – буржуйский наемник...»

Вспомнилось, как стреляли на прошлой неделе за речкой в арбу на сто шагов и он, Антошка, попадал чаще, чем все ребята. В горле щекочущая боль, но сердце реже перестукивает.

Шесть всадников осторожно выехали на площадь, спешились, лошадей привязали к школьному забору.

Вновь рванулось и зачастило Антошкино сердце. Крепко сжал он зубы, унимая дрожь, прыгающими пальцами вставил обойму.

Откуда-то из проулка вырвался еще один конный, покружил на бешено танцующей лошади и, вытянув ее плетью, так же стремительно умчался назад. По небрежной, ухарской посадке Антошка узнал казака; взглядом провожая зеленую гимнастерку, качавшуюся над лошадиным крупом, вздохнул.

Застрекотали тачанки, зацокали бесчисленные копыта лошадей, прогремела батарея. Станица, как падаль червями, закишела пехотой, улицы запрудились тачанками, зарядными ящиками, пулеметными тройками.

Антошка, чувствуя легкий озноб, пальцами, холодными и чужими, тронул затвор, прислушался. Наверху, среди перекладин, ворковал голубь.

«Подожду малость...»

Около ограды спешенные махновцы кормили лошадей. Между лошадьми кучами лежали они, в цветных шароварах и ярких кушаках, как пестрая речная галька. Говор, взрывы смеха. А по дороге, по две в ряд, тачанки катились и катились...

Решившись, Антошка поймал на мушку серую папаху пулеметчика. Гулко полыхнул выстрел, пулеметчик ткнулся головой в колени. Еще выстрел – кучер выронил вожжи и тихо сполз под колеса. Еще и еще...

У коновязей взбесились лошади, с визгом лягали седоков. На дороге билась в постромах раненая пристяжная, около школы с размаху опрокинулась пулеметная тачанка, и пулемет в белом чехле беспомощно зарылся носом в землю. Над колокольной тучей повисли конское ржанье, крики, команда, беспорядочная стрельба...

С лязгом пронеслась назад батарея. Антошку увидели. С деревянной перекладиной сочно поцеловалась пуля. Площадь опустела. На крыльце школы матрос-махновец ловко орудовал пулеметом, жалобно звенели пули, скользя по старому, позеленевшему колоколу. Одна рикошетом ударила Антошку в руку. Отполз, привстал, влипая в кирпичную колонну, выстрелил: матрос всплеснул руками, закружился и упал грудью на подгнившие кособокие ступеньки крыльца.

За станицей, около кладбища, с передка соскочила разлапистая трехдвоймовка, на облупившуюся церквенку зевнула стальной пастью. Гулом взбудоражилась притаившаяся станицонка.

Снаряд ударил под купол, засыпал Антошку пыльной грудью кирпичей и звоном негодующим брызнул в колокола.

V

Петька лежал ничком, не двигаясь, но остро воспринимая и пряный запах чабреца, и четкий топот копыт.

Изнутри надвинулась дикая, душу выворачивающая тошнота. Помотал головой и, приподнявшись, увидел около парусиновой рубашки Григория пенистую лошадиную морду, синий казацкий кафтан и раскосые калмыцкие глаза на коричневом от загара лице.

В полуверсте остальные кружились около лошади, носившей за собой истерзанное человеческое тело в истерзанной бурке.

Когда Григорий заплакал, по-детски всхлипывая, захлебываясь, ломающимся голосом что-то закричал, у Петьки дрогнуло под сердцем живое. Смотрел, не моргая, как калмык привстал на стремянах и, свесившись набок, махнул белой полоской стали. Григорий неуклюже присел на корточки, руками схватился за голову, рассеченную надвое, потом с хрипом упал, в горле у него заклокотала и потоком вывалилась кровь.

В памяти остались подрагивающие ноги Григория и багровый шрам на облупившейся щеке калмыка. Сознание потушили острые шипы подков, вонзившиеся в грудь, шею захлестнул волосяной аркан, и все бешено завертелось в огненных искрах и жгучем тумане...

* * *

Очнулся Петька и застонал от страшной боли, пронизывающей глаза. Тронул рукой лицо, с ужасом почувствовал, как из-под века ползет на щеку густая студенистая масса. Один глаз вытек, другой опух, слезился. Сквозь маленькую щелку с трудом различал Петька над собой лошадиные морды и лица людей. Кто-то нагнулся близко, сказал:

– Вставай, хлопче, а то живому тебе не быть!.. В штаб группы на допрос ходим!.. Ну, встанешь? Мне все одинаково, можем тебя и без допроса к стенке прислонить!..

Приподнялся Петька. Кругом цветное море голов, гул, конское ржанье. Провожатый в серой смушковой папахе пошел впереди. Петька, качаясь, – следом.

Шея горела от волосяного аркана, на лице кровью запеклись ссадины, а все тело полыхало болью, словно били его долго и нещадно.

Дорогой к штабу огляделся Петька по сторонам: везде, куда глаз кинет – на площади, на улицах, в сплюснутых, кривеньких переулках, – люди, кони, тачанки.

Штаб группы в поповском доме. Из распахнутых окон прыгает на улицу старческий хрип гитары, звон посуды; видно, как на кухне суетится попадья, гостей дорогих принимает и потчует.

Петькин проводатый присел на крылечке покурить, буркнул:

– Постой коло крыльца, у штабе дела делают! – Петька прислонился к скрипучим перилам, во рту спеклось, пересох язык, сказал, трудно ворочая разбитым языком:

– Напиться бы...

– А вот тэбэ у штабе напоять!

На крыльцо вышел рябой матрос. Синий кафтан перепоясан красным кумачовым кушаком, махры до колен висят, на голове матросская бескозырка, выцветшая от времени надпись: «Черноморский флот». У матроса в руках нарядная, в лентах, трехрядка. Глянул на Петьку сверху вниз скучающими зеленоватыми глазками, замаслился улыбкой и лениво растянул гармонь:

Коммунист молодой,
Нащо женишься?
Прийдэ батько Махно,
Куда денешься?..

Голос у матроса пьяный, но звучный. Повторил, не поднимая закрытых глаз:

Прийдэ батько Махно,
Куда денешься?..

Проводатый последний раз затянулся папироской, сказал, не оборачивая головы:

– Эй, ты, косое падло, иди за мной!

Петька поднялся по крыльцу, вошел в дом. В прихожей над стеной распластано черное знамя. Изломанные морщинами белые буквы «Штаб Второй группы» – и немного повыше: «Хай живе вильна Украина!»

VI

В поповской спальне дребезжит пишущая машинка. В раскрытые двери ползут голоса. Долго ждал Петька, мялся в полутемной прихожей. Ноющая глухая боль костенила волю и рассудок. Думалось Петьке: порубили махновцы ребят из ячейки, сотрудников, и ему из поповской, прокисшей ладаном спальни зазывно подмаргивает смерть. Но от этого страхом не холодела душа. Петькино дыханье ровно, без перебоев, глаза закрыты, лишь кровью залитая щека подрагивает.

Из спальни голоса, шелканье машинки, бабьи смешки и хрупкие перезвоны рюмок.

Мимо Петьки попадья на рысях в прихожую, следом за ней белоусый перетянутый махновец тренькает шпорами, на ходу крутит усы. В руках у попадьи графин, глазки цветут миндалем.

– Шестилетняя наливочка, приберегла для случая. Ах, если б вы знали, что за ужас жить с этими варварами!.. Постоянное преследование. Ячейка даже пианино приказала забрать. Подумайте только, у нас взять наше собственное пианино! А?

На ходу уперлась в Петьку блудливо шмыгающими глазами, брезгливо поморщилась и, узнав, шепнула махновцу:

– Вот председатель комсомольской ячейки... ярый коммунист... Вы бы его как-нибудь...

За шелестом юбок недослышал Петька конца фразы. Минуту спустя его позвали.

– В угловую комнату живее иди, тряся твоей матери...

Белоусый в серебристой каракулевой папахе за столом.

– Ты комсомолец?

– Да.

– Стрелял в наших?

– Стрелял...

Махновец задумчиво покусал кончик уса, спросил, глядя выше Петькиной головы:

– Расстреляем – не обидно будет?

Петька вытер ладонью выступившую на губах кровь, твердо сказал:

– Всех не перестреляете.

Махновец круто повернулся на стуле, крикнул:

– Долбышев, возьми хлопца и снаряди с ним на прогулку второй взвод!..

Петьку вывели. Провожатый на крыльце ремешком связал Петькины руки, затянул узел, спросил:

– Не больно?

– Отвяжись, – сказал Петька и пошел в ворота, нескладно махая связанными руками.

Провожатый притворил за собой калитку и снял с плеча винтовку.

– погоди, вон взводный идет!

Петька остановился. Было нудно оттого, что нестерпимо чесался подбородок, а почесать нельзя – руки связаны.

Подошел низенький, колченогий взводный. От высоких английских краг завоняло дегтем. Спросил у провожатого:

– Ко мне ведешь?

– К тебе, велели поскорее!

Взводный поглядел на Петьку сонными глазами, сказал:

– Чудак народ... Валандаются с парнишкой, его мучают и сами мучаются.

Хмуря рыжие брови, еще раз глянул на Петьку, выругался матерно, крикнул:

– Иди, вахлак, к сараю!.. Ну!.. Иди, говорят тебе, и становься к стене мордой!..

На крыльцо вышел белоусый махновец из штаба, перевесившись через резные балясины, сказал:

– Взводный, чуешь?.. Не стреляй хлопца, нехай он ко мне пойдет!

Петька взошел на крыльцо, стал, прислонясь к двери. Белоусый подошел к нему вплотную, сказал, стараясь заглянуть в узенькую, окровавленную щелку глаза:

– Крепкий ты, хлопец... Я тебя мылую, запишу до батька у вийсько. Служить будешь?

– Буду, – сказал Петька, закрывая глаз.

– А не утэчэш?

– Кормить будете, одевать будете – не сбегу...

Белоусый засмеялся, наморщил нос.

– И хотел бы утэкти, та не сможеш... Я за тобой глаз поставлю. – Оборачиваясь к провожатому, сказал: – Возьми, Долбышев, хлопца в свою сотню, выдай, что ему требуется из барахла. Он на твоей тачанке будет. Гляди в оба. Винтовку пока не давай!

Хлопнул Петьку по плечу и, покачиваясь, ушел в дом.

Из станицы выехали на другой день в полдень. Петька сидел рядом с вислоусым Долбышевым, качался на козлах, думал тягучую, нудную думу.

Взмешенная грязь на дороге после дождя вспухла кочками. Тачанку встряхивает, раскачивает из стороны в сторону. Шагают мимо телеграфные столбы, без конца змеится дорога.

В хуторах, поселках – шум, мужичьи взгляды исподлобья, бабий надрывный вой...

Вторая группа откололась от армии и пошла по направлению к Миллерову. Армия двигалась левой.

Перед вечером Долбышев достал из козел измятую буханку хлеба, разрезал арбуз. Прожевывая, кинул Петьке:

– Ешь, браток, ты теперь нашей веры.

Петька с жадностью съел ломоть спелого арбуза и краюху хлеба, пахнущую конским потом.

Долбышев откромсал тесаком еще ломоть, сунул Петьке.

– Только нет у меня на тебя надежи! Так соображаю я, что сбегишь ты от нас! Порубать бы тебя – куда дело спокойнее!

– Нет, дядька, напрасно ты так думаешь... Зачем я от вас буду убегать? Может, вы за справедливость воюете...

– Ну да, за справедливость. А ты думал – как?

Петька поправил на глазу повязку и сказал:

– А ежели за справедливость, то на что ж вы народобижаете?

– А чем мы его забижаем?

– Как чем? Всем! Вот хутор проехали, ты у мужика последний ячмень коням забрал. А у него детишкам есть нечего.

Долбышев скрутил сигарку, закурил.

– На то батькин приказ был.

– А ежели бы он приказ дал всех мужиков вешать?

– Гм... Ишь ты куда заковырнул!

Долбышев развешал над головой полотнища махорочного дыма, промолчал.

А на ночевке Петьку позвал к себе сотенный, рябой матрос Кирюха-гармонист, сказал, помахивая маузером:

– Ты, в гроб твою мать, так и разэтак, если еще раз пикнешь насчет политики – прикажу поднять у тачанки дышло и повесить тебя, сучкинова сына, вверх ногами... Понял?

– Понял, – ответил Петька.

– Ну, метись от меня ветром да помни, косой выволочек, чуть что – другой глаз выдолблю и повешу!..

Понял Петька, что агитацию нужно вести осторожнее. Дня два старался заглаживать свой поступок: расспрашивал у Долбышева про батьку, про то, в каких краях бывали, но тот хранил упорное молчание, глядел на Петьку подозрительным, исподлобья, взглядом, цедил сквозь сжатые зубы скупые слова. Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним, перед Долбышевым (который родом сам не откуда-нибудь, а из Гуляй-Поля и жил с Нестером Махно прямо-таки в тесном суседстве), его растеплили, разговаривать стал он с Петькой охотнее – и через день выдал ему карабин и восемьдесят штук патронов.

В этот же день перед вечером сотня стала привалом неподалеку от слободы Кашары. Долбышев выпряг из тачанки коня; подавая Петьке цибарку, сказал:

– Скачи, хлопче, вон до этих верб, там пруд, почерпни воды, кашу заварим!

Петька, стараясь сдержать прыгающее сердце, сел верхом и мелкой рысью поскакал к пруду.

«Доеду до пруда, а оттуда в гору, и айда», – мелькнула мысль.

Доехал до пруда, обогнул узкую, полуразвалившуюся плотину, незаметно бросил цибарку и, ударив коня каблуками, выскочил на пригорок. Словно предупреждая, над головой взыкнула пуля, около становища хлопнул выстрел; Петька помутневшим взглядом смерил расстояние, отделявшее его от становища: было немного более полверсты.

Подумал: «Если скакать на гору, непременно застигнет пуля». Нехотя повернул коня, поехал обратно.

Долбышев, подвесив на кончик дышла казанок с картофелем, глянул на Петьку, сказал: – Будешь баловать – убью! Так и попомни!

VII

Ранней зарей Петьку разбудил воющий гул голосов. Проснулся, сбросил с тачанки попону, которой укрывался на ночь. В редеющей синеве осеннего дня перекатами колыхался крик.

– Дядька, что за шум?

Долбышев, стоя на козлах во весь рост, махал лохматой папай и, багровый от натуги, орал:

– Батькови здравствовать!.. Ур-ра-а!..

Петька привстал, увидел, как по дороге, запряженная четверкой вороных, катится тачанка. С лошадей белая пена комьями, кругом верховые, а сам Махно, раненный под Чернышевской, держит под мышкой костыль, морщит губы – то ли от раны, то ли от улыбки. С задка тачанки ковер до земли свесился, пыль растрепанными космами виснет на задних колесах.

Мелькнула тачанка мимо, а через минуту только пыль толпилась вдали на дороге да таял, умолкая, гул голосов.

VIII

Прошло три дня. Вторая группа продвигалась к железной дороге. По пути не было ни одного боя. Малочисленные красные части отходили к Дону. Петька ознакомился со всей сотней: из полутора человека – шестьдесят с лишним были перебежчики-красноармейцы, остальные – с бору да с сосенки.

Как-то на ночевке собрались у костра, под гармошку выбивали дробного трепака. Сухо побрякивала под ногами земля, схваченная легоньким морозцем.

Долбышев ходил по кругу вприсядку, щелкал по пыльным голенищам ладонями и тяжело сопел, как запаленная лошадь.

Потом, расстелив шинели и козуха, легли вокруг огня. Пулеметчик Манжуло, прикуривая от головни, сказал:

– Есть такие промеж нас разговоры: болтают, что через Шахты поведет нас батько до румынской границы, а там кинет войско и один уйдет в Румынию.

– Брехни это! – буркнул Долбышев.

Манжуло ошетинился, обругал Долбышева матерком, тыкая в его сторону пальцем, крикнул:

– Вот он, дурочкин любовник! Возьми его за рупь двадцать! А ты, свиной курюк, думал, что он тебя посадит к себе на тачанку?..

– Не может он кинуть войско!.. – запальчиво крикнул Долбышев.

– Раздолба!.. Отродье Дуньки грязной!.. Ведь не пустит румынский царь на свою землю двадцать тысяч! – белея от злобы, выкрикнул пулеметчик.

Его поддержали:

– Верно толкуешь!..

– В точку стрельнул, Манжуло!..
– Мы до тех пор надобны, покель кровь льем за батьку да за его любовниц, каких он с собой возит...
– Го-го-го!.. Ха-ха-ха!.. Подсыпай ему, брательник! – понесли над костром крики.
Долбышев встал и торопливо пошел к тачанке сотника. Вслед ему пронзительно засвистали, заулюлюкали, кто-то кинул горящее полено.
– Наушничать пошел... Ну, ладно... Подойдет бой, мы его в затылок шлепнем!
Петька увидал, как сотник Кирюха шагает к костру, и отодвинулся подальше от огня.
– Вы что, хлопцы? Кто из вас по петле соскучился?.. Кому охота на телеграфных столбах качаться? А ну, говорите!..
Манжуло привстал с земли, подошел к сотнику в упор, сказал, дыша часто и отрывисто:
– Ты, Кирюха, палку не перегибай! Она о двух концах бывает!.. Прищими свой паскудный язык!
– А ну, пойдем в штаб?
Кирюха ухватил пулеметчика за рукав, но кругом глухо загудели, привстали с земли, разом сомкнулась позади сотника стена лохматых папах.
– Не трожь!
– Душу вынем!
– Тебя вместе с штабом вверх колесами опрокинем!
Кирюху понемногу начали подталкивать, кто-то, развернувшись, звонко хлестнул его по уху. Синий кафтан сотника треснул у ворота. Брякнули затворы винтовок. Сотник рванулся, в воздухе повис стонущий крик:
– Сполох!..³ Изме...
Пулеметчик зажал ему ладонью рот, шепнул на ухо:
– Уходи да помалкивай... Пулю в спину получишь!
Расталкивая скучившихся махновцев, провел его до первой тачанки и вернулся к костру.
Снова загремел рокочущий хохот, пискнула гармонь, забарабанили каблуками танцоры, а около тачанки повалили Долбышева наземь, заткнули кушаком рот и долго били прикладами винтовок и ногами.

* * *

На другой день из штаба группы прискакал ординарец, передал сотнику засаленный блокнотный листик. На листике всего четыре слова набросано чернильным карандашом: «Приказываю сотне взять совхоз».

IX

С бугра виден совхоз. За белой каменной змейчатой оградой – кирпичные постройки, высокая труба кирпичного завода.

Сотня, бросив на шляху тачанки, бездорожно цепью пошла к совхозу.

Сотник Кирюха с лицом, перевязанным бабым пуховым платком, ехал впереди. Вороная кобылица под ним спотыкалась, он ежеминутно оглядывался на реденькую шеренгу людей, молча шагавших позади.

³ Сполох – здесь: тревога.

Петька шел седьмым на левом фланге. Почему-то казалось, что сегодня – скоро – должно случиться что-то большое и важное. И от этого ожидания было ощущение нарастающей радости.

Когда на выстрел подошли к совхозу, сотник соскочил с лошади, крикнул:

– Ложись!

Рассыпались возле балки. Легли. Ударили по каменной ограде недружным залпом. С крыши совхоза хриповато и неуверенно заговорил пулемет. По двору замаячили люди. Пули ложились позади цепи, подымали над землей комочки тающей пыли.

Три раза ходила сотня в атаку и три раза отступала до балки. Последний раз, когда бежал Петька обратно, увидел возле сурчиной норы Долбышева, лежавшего навзничь, нагнулся – под папашой на лбу у Долбышева дырка. Понял Петька, что подстрелили его свои же: выстрел почти в упор, в лицо, повыше глаза.

Четвертый раз сотник Кирюха вынул из ножен гнутую кавказскую шашку и, обводя сотню соловыми глазами, прохрипел:

– Вперед, хлопцы!.. За мной!..

Но хлопцы, не двигаясь с места, глухо загудели. Манжуло, пулеметчик, выкинул из винтовки затвор, крикнул:

– На убой ведешь? Не пойдем!..

Петька, чувствуя, как холодеют его пальцы, а тело покрывается липким потом, выкрикнул рвущимся голосом:

– Братцы!.. За что кровь льете?.. За что идете на смерть и убиваете таких же тружеников, как и вы?..

Голоса смолкли. Петька сразу почувствовал, как вспотел у него в руках винтовочный ремень.

– Братцы!.. Давайте сложим оружие!.. У каждого из вас есть родная семья... Аль не жалко вам жен и детей? Думали вы об этом, что будет с ними, ежели вас перебьют?..

Сотник выдернул из кобуры маузер, но Петька предупредил его движение, вскинул винтовку, почти не целясь, выстрелил в синий распахнутый кафтан. Кирюха закружился волчком и лег на землю, зажимая руками грудь.

Петьку окружили, сзади ударили прикладом, смяли и повалили на землю. Но пулеметчик Манжуло, растопыривая руки, нагнулся над ним, заорал дурным голосом:

– Стой!.. Не убивать парня!.. Стой – нехай доскажет, тогда пристукаем!..

Приподнял Петьку с земли, встряхнул:

– Говори!

У Петьки перед глазами плывет земля и клочковатое взлохмаченное небо. Собрал в один комок всю волю, заговорил:

– Убивайте!.. Один конец!..

Сзади гаркнули:

– Громче... ничего не слышать!

Петька вытер рукавом сбегающую с виска кровь, сказал, повышая голос:

– Обдумайте толком. Махно доведет вас до Румынии и бросит!.. Ему вы нужны только сейчас!.. Кто хочет холопом быть – уйдет с ним, остальных Красная армия уничтожит. А если сейчас мы сдадимся, нам ничего не будет...

В балке сыро. Тишина. Дышать всем трудно, словно не хватает воздуха...

Ветер низко над землей стелет тучи. Тишина... тишина...

Пулеметчик потер рукой лоб, спросил тихо:

– Ну как, хлопцы?..

Потупленные головы. В стороне сотник Кирюха разодрал на простреленной груди рубаху, в последний раз взбрыкнул ногами и затих, мелко подрагивая.

– Кто сдаваться – отходи направо! Кто не хочет – налево! – крикнул Петька.

Пулеметчик отчаянно махнул рукой и шагнул направо, за ним хлынули торопливо и густо. Человек восемь остались на месте, помялись, помялись и подошли к остальным...

Через пять минут к совхозу шли тесной валкой. Впереди Петька и пулеметчик Манжуло. У Петьки на заржавленном штыке разорванная белая исподняя рубаша вместо флага.

Из ворот совхоза высыпали кучей. Винтовки наизготове, смотрят недоверчиво.

Не доходя шагов триста, сотня стала. Петька и Манжуло отделились, без винтовок двинулись к совхозу. Навстречу им двое совхозовцев. На полдороге сошлись. Поговорили немного. Бородатый совхозец обнял Петьку. Манжуло, утирая усы, крест-накрест поцеловался с другим.

Гул одобрения с той и с другой стороны. Сотня с лязгом сваливает в одну кучу винтовки, и по одному, по два, кучками идут в распахнутые ворота совхоза.

Х

Из округа приехал в совхоз уполномоченный ЧК. Расспросил Петьку, записал показания в книжку и, пожав ему обе руки, уехал.

Часть махновцев влилась в красный кавалерийский полк, преследовавший Махно, остальные пошли в округ, в военкомат. Петька остался в совхозе.

После пережитого так хорошо без движения лежать на койке. Как будто утихает режущая боль в порожней глазной впадине. Будто никто сроду не волочил Петьку на аркане, не бил смертным боем... Недавнее прошлое как-то не помнится, не хочет Петька его вспоминать.

Но когда в совхозном клубе идет мимо треснувшего зеркала, мимоходом увидит свое землистое, изуродованное лицо, – горечь сводит губы и труднее становится дышать.

Во вторник перед вечером в комнату к Петьке вошел секретарь совхозной ячейки. Сел на койку рядом с Петькой, поджал длинные, в охотничьих сапогах, ноги, откашлялся:

– Приходи через час в клуб на общее собрание.

– Ладно, приду.

Посидел секретарь и ушел. Через час Петька в клубе. Слушает доклады председателя совхоза, агронома, заведующего кирпичным заводом, ветеринара. Перед Петькой в отчетных цифрах проходит налаженная, размеренная как часы жизнь.

Протокол. Выработка резолюций. Пожелания.

В текущих делах слова попросил секретарь ячейки.

– Товарищи, у нас в совхозе живет комсомолец Кремнев, Петр. Вы знаете, что ему мы обязаны тем, что сохранили совхоз от разгрома. Ячейка предлагает отправить Кремнева в округ на излечение, а потом зачислить его на освободившееся место на нашем заводе. Давайте голоснем. Кто «за»?

Единогласно. Воздержавшихся нет. Но Петька встал со скамьи, из порожней глазной впадины бежит у него на щеку торопливая мутная слеза. У Петьки губы сводит. Постоял, оглядел собрание прижмуренным глазом, сказал, трудно ворочая непослушным языком:

– Спасибо, но я не могу остаться у вас... Я рад бы работать с вами... Но дело в том... дело вот в чем: у вас жизнь идет как по шнуру, а там... в станице, откуда я... там жизнь хромает, насилие наладили дело, организовали ячейку, и теперь, может быть, многих нет... махновцы порубили... и я хочу туда... там сильнее нуждаются в работниках.

Все молчат. Все согласны. В клубе тишина.

XI

Провожать пошли чуть ли не всем совхозом. Пока попрощался Петька и поднялся на гору – смерклось. Над дорогой, над немимым строем телеграфных столбов расплескалась темнота...

Ползет вдоль Дона, повыше лобастых насупленных гор, Гетманский шлях. Молча шагает Петька.

В черной вязкой темени, в пустой тишине спящей ночи звонко чеканятся шаги. Похрустывает под ногами иней. Ямки, вдавленные лошадиными копытами, затянуты тоненькой пленкой льда. Лед хрупко звенит, проламываясь, хлопает мерзнущая вода.

Из-за кургана, караулящего шлях, выполз багровый от натуги месяц. Неровные, косые плывущие тени рассыпались по степи. Шлях засеребрился глянцем, голубыми отсветами покрылся ледок.

Молча шагает Петька, раскрытым ртом жадно хлебает воздух. Увядающая придорожная полынь пахнет горечью, горьким потом...

Без конца кучерявится путь-дороженька, но Петька твердо шагает навстречу надвигающейся ночи, и из голубого полога неба бледно-зеленым светом мерцает ему пятиугольная звезда.

1925

Нахаленок

Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит:

– А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, откель ноги растут!..

– За что, дедуня? – спрашивает Мишка.

– А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!..

– Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! – в страхе кричит Мишка.

Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:

– Ложись, постреленыш, и спущай портки!..

Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостины отпробовал. Чутьочку открыл левый глаз – в хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-бу-бу...»

Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на Пасху, когда приходил он, дед так же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на шее у него висит, воет.

Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как гаркнет:

– А где мое потомство?

Мишка струхнул, под одеяло забрался.

– Минюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел! – кричит мамка.

Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокрым, соленом. Мишка вырываться, да не тут-то было.

– Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку перерастет!.. Го-го-го!.. – кричит батянька и знай себе пестает Мишку – то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает.

Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился.

– Пусти, батянька!

– Ан вот не пушу!

– Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка, нянчишь!..

Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь:

– Сколько ж тебе лет, пистолет?

– Восьмой идет, – поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.

– А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пуцали?

– Помню!.. – крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею.

Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:

– Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, варнак этакий! – И отца просит: – Пусти его, Фома Акимыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним занимаешься!

Ссадил Мишку отец на пол и говорит:

– Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостинцев дам.

Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел батянька, – и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду.

Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чикилая на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька – попов сынок.

– Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.

Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плече помочь и нехотя сказал:

– Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже!..

Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку:

– Это от золотухи, а ты – мужик, и тебя мать под забором родила!..

– А ты видал?

– Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке.

Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.

– Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал, а твой – кровожад и чужие пироги трескает!..

– Нахаленок!.. – кривя губы, крикнул попович.

Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:

– Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?

Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:

– Мне батянька лучшей твоего с войны принес!

– Вре-ошь? – недоверчиво протянул Витька.

– Сам врешь!.. Раз говорю – принес, значит – принес!.. И заправское ружье...

– Подумаешь, какой ты стал богатый! – завистливо усмехнулся Витька.

– И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.

Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот.

– А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был пастухом. Ага, что?..

Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:

– Миша, Миша, я что-то скажу тебе!

– Говори.

– Подойди ко мне!..

Мишка подошел и подозрительно косился:

– Ну, говори!

Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:

– Твой отец – коммуняка! Вот как только помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а Бог и скажет: «За то, что твой отец был коммунистом, – отправляйся в ад!» И начнут тебя там черти на сковородках поджаривать!..

– А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?

– Мой папочка – священник!.. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь...

Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой.

У огородного плетня остановился, крикнул, грозя поповичу кулаком:

– Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь – не ходи мимо нашего двора!

Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, а на ней его, Мишку, жарят... Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить...

Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка – выручать: попробовал калитку открыть – свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил – глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит:

– Подойди ко мне, голубь мой!

Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про адскую сковородку вспомнил и – рысью к деду.

– Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?

– Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места да хворостинкой высушу!.. Ах ты, лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?..

Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать:

– Поди на своего умника полюбуйся!

Выскочила мать.

– За что ты его?

– Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..

– Это он на супоросой свинье катался? – ахнула мать.

Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол и при этом очень строго говорил:

– Не езд на свинье!.. Не езд!..

Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:

– Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь?

Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой – не достал. Подхватила мать Мишку – в хату толкнула:

– Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя доберусь – не по-дедовски шкуру спущу!..

Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает.

Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:

– Ну, дедунюшка... попомни!

– Ты что ж это, поганец, деду грозишь?

Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.

– Значит, ты мне грозишь? – переспрашивает дед. Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:

– погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!

Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костью, а у самого в бороде хоронится улыбка.

* * *

Для отца он – Минька. Для матери – Минюшка. Для деда – в ласковую минуту – постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза, – «эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!».

А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребяташек, для всей станицы – Мишка и «нахаленок».

Девкой родила его мать. Хотя через месяц и обвенчалась с пастухом Фомою, от которого прижила дитя, но прозвище «нахаленок» язвой прилипло к Мишке, осталось на всю жизнь за ним.

Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купанья в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорош колченогенький Мишка – глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда.

Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый-престарый, зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки.

На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор.

Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает. Подозвал Мишку:

– Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала, должно, яйцо обронила.

Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается – не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, покряхтывает. Не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и больно стучаясь головой о перекладыны, дополз до конца.

– Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут нестись? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут положишь, постреленыш?

Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на пруд, увидел Мишку и рукой махнул...

Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:

– Твой батянька на войне был?

– Был.

– А что он там делал?..

– Известно что – воевал!..

– Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!..

Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глаза, а тут еще Витька-попович больно задел его.

– А твой отец коммунист?.. – спрашивает.

– Не знаю...

– Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать!..

Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать – за что? Крепко сжал зубы и сказал:

– У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает!

Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:

– Руки у него коротки! Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает!..

Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул:

– А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, а отец сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого убью!..»

Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:

– Бейте его, ребята, что смотреть?!

– Бей коммунячьего сына!..

– Нахаленок!..

– Звездани его, Прошка!

Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу, Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь, грузно, шлепнулся на песок.

Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот.

Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали.

Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.

Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько побрел во двор.

Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку, спросил шепотом:

– Батя, ты на войне что делал?

Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:

– Воевал, сыночек!

– А ребята... ребята гутарят, что ты там только вшей убивал!..

Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки.

– Брешут они, мой родной! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать.

– С кем ты воевал?

– С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.

Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку:

Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!

Не ходи ты на войну, нехай батько иде,

Батько – старенький, на свити нажився...

А ты – молоденький, тай ще не женився...

Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся – оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой.

– Ты мне сейчас не мешай, Минька, – сказал отец, – я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь, и я тебе про войну все расскажу!

* * *

День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и с почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка.

Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка выюном около нее крутился.

– Скоро вечерять будем?

– Успеешь, непоседа, оголодал!..

Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб – и он за ней, мать на кухню – и он следом. Пиявкой присосался, за подол уцепился, волочится.

– Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..

– Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захотел – взял кусок и лопай!

А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог.

За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и – опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и ждет, когда придет батянька про войну рассказывать.

Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову: дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол – стук!.. А Мишка локтем в стену – бух!..

Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стучает. Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке:

– Я тебе, окаянный, прости господи!.. Постучи у меня, я те стукну!

Быть бы драке, но в горницу вошел отец.

– Ты зачем же, Минька, тут лег? – спрашивает.

– Я с маманькой сплю.

Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал:

– А я тебе в горнице с дедом постелил...

– Я с дедом не ляжу!..

– Это почему ж?

– У него от усов табаком дюже воняет!

Отец опять покрутил усы и вздохнул:

– Нет, сынок, ты уж ложись с дедом...

Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал:

– Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нынче... Ложись ты с дедом!

Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову, прошептал:

– Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, должно быть, не будет спать! От тебя тоже табаком воняет!

– Ну ладно, ляжу с дедом, а про войну рассказывать не буду. – Отец поднялся и пошел в кухню.

– Батянька!

– Ну?

– Ложись уж тут... – вздыхая, сказал Мишка и встал. – А про войну расскажешь?

– Расскажу.

Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую сигарку.

– Видишь, оно какое дело было... Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?..

Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огороду гумна и – в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые черноруые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:

– Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..

Батянька помолчал и сказал, глядя Мишку по голове:

– А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган? Хлеб наш там был...

И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо и по запыленным щекам его скупотекли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...

Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:

– Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб? – Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:

– Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу...

...Отец придвинул скамью ближе, заговорил:

– Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда... Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду били... А потом объявились большевики, и старшой у них – по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все – ваше!..»

Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы умишками – верно. Отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья, нащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной... Понял, сынок?

А тот самый Ленин – старшой у большевиков – народ поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих и ну наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие, и горниц так много, что заплутаться можно.

Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нишет... Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково:

– Не холодно вам, товарищ?

А я ему и говорю:

– Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!..

Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом пошел потихоньку к воротам.

Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидел Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев.

– Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом солдате сердцем хворал... После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:

– Так не сломят нас буржуи?

– В носе у них не кругло, товарищ Ленин! – бывало, скажу ему.

По ему слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали, а богатеев – кровососов наших – побоку!.. Вырастешь – не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию

четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру, и Ленин помрет, а дело наше довеку живо будет!.. Когда вырастешь – будешь воевать за советскую власть, как твой батька воевал?

– Буду! – крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.

Дед как крикнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу.

На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке – Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки, – потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил.

Не успел уснуть, увидел во сне город: улицы широкие, куры в просыпанной золе купаются; на что в станице их многое множество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь как отец рассказывал: большущая хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась.

Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг откуда ни возьмись шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе.

– Ты, Мишка, почему без делов шляешься? – спрашивает он очень ласково.

– Меня дедуня пустил поиграть, – отвечает Мишка.

– А ты знаешь, кто я такой?

– Нет, не знаю...

– Я – товарищ Ленин!..

У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его, Мишку, за рукав и говорит:

– Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в мое войско не поступаешь?..

– Меня дедуня не пускает! – оправдывается Мишка.

– Ну, как хочешь, – говорит товарищ Ленин, – а без тебя у меня – неуправка! Должен ты ко мне в войско вступить, и шабаш!..

Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:

– Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..

– Обязательно заступлюсь! – сказал товарищ Ленин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть; хочет он что-то крикнуть – язык присох...

Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся.

Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровавистой пеной клубятся плывущие с востока облака.

* * *

С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.

В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низенького человека в шинели и с кожаным портфелем под мышкой. Подозвал деда, сказал:

– Вот привел к вам на хватуру товарища советского сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерять, дедушка.

– Оно конечно, мы не прочь, – сказал дед. – А мандаты у вас имеются, господин товарищ? Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать.

– Есть, дедушка, все есть! – улыбнулся человек с кожаным портфелем и пошел в горницу. Дед за ним, а Мишка за дедом.

– Вы по каким же делам к нам прибыли? – доброй спросил дед.

– Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов Совета.

Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом, чужак расстегнул кожаный портфель, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает:

– Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!

Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в карман штанов засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал; крепко, навовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил.

Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок портфель и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:

– Кто это?

По полу шлепают чьи-то босые ноги.

– Кто там? – спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку. – Тебе чего, малыш?

Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:

– Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!

Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него.

Страх охватил Мишку: ну, как заскупится и не даст? Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:

– Ты мне отдай его навовсе, а я тебе... я тебе подарю жестяную коробку хорошую, и ишо отдам все как есть бабки, и... – Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: – И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!

– А зачем тебе Ленин? – улыбаясь, спросил чужак.

«Не даст!..» – мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:

– Значит, надо!

Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и – рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает:

– Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помочись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе без надобности!

Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.

Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:

– Что тебя лихоманец мучает! Это зачем такую рань поднялся?

Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно, под амбар юркнул.

Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, песок разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.

С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки ручьи.

Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается

в церковной сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым, народу полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам.

Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.

– Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем? Прошу поднять руки! Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул:

– Граждане!.. Прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!..

Мишка увидал, как Федот-сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками:

– Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за советскую власть...

Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопотали ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.

– Не нужен пастух!

– Пришел со службы – нехай к миру в пастухи нанимается!..

– К черту Фому Коршунова!

Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него.

– Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять! – орал чужак, грохая по столу кулаком.

– Своего человека из казаков выберем!..

– Не нужен!..

– Не хо-о-тим... мать-перемать!.. – шумели казаки, и пуще всех Прохор, зять лавочника.

Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном, заплатанном пиджаке вскочил на скамью:

– Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. Нахрапом желают богатеи посадить в председатели своего человека!.. А там опять...

Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:

– Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем заберут себе...

– Прохора в председатели!.. – гудели около дверей.

– Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..

Насилу уgomонились. Чужак, хмуря брови и брызгая слюной, долго что-то выкрикивал.

«Должно, ругается», – подумал Мишка.

Чужак громко спросил:

– Кто за Фому Коршунова?

Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал:

– Шестьдесят три... шестьдесят четыре, – не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул: – Шестьдесят пять!

Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:

– Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!

Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо.

– Ах ты, шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю! Тоже голосует!..

Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:

– Таких правов не имеешь!

– Я тебе покажу права!..

Обида была, как и все обиды, очень горькая.

Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала:

– А ты не ходи куда не след! Во всякую дыру нос суешь!.. Наказание мне с тобой, да и только!

На другой день утром сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:

– А ведь это военный оркестр!

Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах, за окошком слышно частое – туп-туп-туп-туп...

Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна.

В конец улицы зеленой колыхающейся волной вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.

У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу... Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!..»

Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась. Уцепился за подсумок крайнего.

– Вы куда идете? Воевать?

– А то как же? Ну да, воевать!

– А за кого вы воюете?

– За советскую власть, дурашка! Ну, иди сюда, в середку.

Толкнул Мишку в середину рядов, кто-то, смеясь, щелкнул его по вихрастому затылку, другой на ходу достал из кармана измазанный кусок сахара, сунул ему в рот. На площади откуда-то из передних рядов крикнули:

– Сто-о-ой!..

Красноармейцы остановились, рассыпались по площади, густо легли в холодке, под тенью школьного забора. К Мишке подошел высокий бритый красноармеец с шашкой на боку. Спросил, морща губы в улыбке:

– Ты откуда к нам прибулдился?

Мишка напустил на себя важность, поддернул сползающие штанишки.

– Я иду с вами воевать!

– Товарищ комбат, возьми его в помощники! – крикнул один из красноармейцев.

Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но человек с чудным прозвищем «комбат» нахмурил брови, крикнул строго:

– Ну, чего ржете, дурачье? Разумеется, мы возьмем его, но с условием... – Комбат повернулся к Мишке и сказал: – На тебе штаны с одной помочью, так нельзя, ты нас осрамишь своим видом!.. Вот, погляди: на мне две помочи, и на всех по две. Беги, пусть тебе матка пришьет другую, а мы тебя подождем тут... – Потом он повернулся к забору, крикнул, подмигивая: – Терещенко, пойдй принеси новому красноармейцу ружье и шинель!

Один из лежавших под забором встал, приложил руку к козырьку, ответил:

– Слушаюсь!.. – и быстро пошел вдоль забора.

– Ну, живо беги! Пусть матка поскорее пришьет другую помочь!..

Мишка строго взглянул на комбата:

– Ты гляди не обмани меня!

– Ну что ты? Как можно!..

От площади до дома далеко. Пока добежал Мишка до ворот – запыхался. Дух не переведет. Возле ворот на бегу скинул штанишки и, мелькая босыми ногами, вихрем ворвался в хату.

– Маманька!.. Штаны!.. Помочь пришей!..

В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи. Обежал Мишка двор, гумно, огород – ни отца, ни матери, ни деда нет. Вскочил в горницу – на глаза попался мешок. Отрезал ножом длинную ленту, пришивать некогда, да и не умеет Мишка. Наскоро привязал ее к штанам, перекинул через плечо, еще раз привязал спереди и опрометью под амбар.

Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую руку, указывающую на него, Мишку, шепнул, переводя дух:

– Ну, вот видишь?.. И я поступил в твою войску!..

Бережно завернул карточку в лопух, сунул за пазуху – и по улице вскачь. Одной рукой карточку к груди жмет, другой штанишки поддевает. Мимо соседского плетня бежал, крикнул соседке:

– Анисимовна!

– Ну?

– Перекажи нашим, чтоб обедали без меня!..

– Ты куда летишь, сорванец?

Мишка махнул рукой:

– На службу ухожу!..

Добежал до площади и стал как вкопанный. На площади – ни души. Под забором папиросные окурки, коробки от консервов, чьи-то изорванные обмотки, а в самом конце станицы глухо гремит музыка, слышно, как по утрамбованной дороге гоцают шаги уходящих.

Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что есть мочи побежал догонять. И догнал бы, обязательно догнал, но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит. Пока перебежал Мишка на другую улицу – не слышно ни музыки, ни топота ног.

* * *

Дня через два в станицу пришел отряд человек в сорок. Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду:

– Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд пришел. Разверстка начинается.

Солдаты ходили по дворам: шупали штыками землю в сараях, доставали зарытый хлеб и свозили на подводах в общественный амбар.

Пришли к председателю. Передний, посасывая трубку, спросил у деда:

– Зарывал хлеб, дедушка? Признавайся!..

Дед разгладил бородку и с гордостью сказал:

– Ведь у меня сын-то коммунист!

Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взглядом закрома и улыбнулся:

– Отвези, дедушка, вот из этого закрома, а остальное тебе на прокорм и на семена.

Дед запряг в повозку старого Савраску, покряхтел, постонал, насыпал восемь мешков, сокрушенно махнул рукой и повез к общественному амбару. Маманька, хлеб жалеючи, немного поплакала, а Мишка помог деду насыпать зерно в мешки и пошел к попову Витьке играть.

Только что сели в кухне, разложили на полу вырезанных из бумаги лошадей, – в кухню вошли те же солдаты. Батюшка, путаясь в подряснике, выбежал навстречу им, засуетился, попросил пройти в комнаты, но солдат с трубкой строго сказал:

– Пойдемте в амбар! Где у вас хлеб хранится?

Из горницы выскочила растрепанная попадья, улыбнулась воровато:

– Представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету!.. Муж еще не ездил по приходу...

– А подпол у вас есть?

– Нет, не имеется... Мы хлеб раньше держали в амбаре...

Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни в просторный подпол, сказал, поворачивая голову к попадье:

– А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, забыла?..

Попадья, бледнея, рассмеялась:

– Это ты спутал, деточка!.. Витя, вы бы пошли в сад поиграли!..

Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся Мишке:

– Как же туда спуститься, малец?

Попадья хрустнула пальцами, сказала:

– Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подпола у нас нет!

Батюшка, махнув полами подрясника, сказал:

– Не угодно ли, товарищи, закусить? Пройдемте в комнаты!

Попадья, проходя мимо Мишки, больно щипнула его за руку и ласково улыбнулась:

– Идите, детки, в сад, не мешайте здесь!

Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постукивая по полу прикладами винтовок. У стены отодвинули стол, скovyрнули дерюгу. Солдат с трубкой приподнял половицу, заглянул в подпол и покачал головой:

– Как же вам не стыдно? Говорили – хлеба нет, а подпол доверху засыпан пшеницей!..

Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что ему стало страшно и захотелось поскорее домой. Встал и пошел на двор. Следом за ним в сенцы выскочила попадья, всхлипнула и, вцепившись Мишке в волосы, начала его возить по полу.

Насилу вырвался, пустился без огляду домой. Захлебываясь слезами, рассказал все матери: та только за голову ухватилась:

– И что я с тобой буду делать?.. Иди с моих глаз долой, пока я тебя не отбуждала!..

С тех пор всегда, после каждой обиды, заползал Мишка под амбар, отваливал камешек, разворачивал лопух и, смачивая бумагу слезами, рассказывал Ленину о своем горе и жаловался на обидчика.

Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские ребяташки не водились с ним, к прозвищу «нахаленок» прибавилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишке кричали:

– Эй ты, коммуnenок! Коммунячев недоносок, оглянись!..

Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером; не успел в хату войти, услышал, как отец говорит резким голосом, а маманька голосит и причитает, ровно по мертвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит: отец шинель свою скатал и сапоги надевает.

– Ты куда идешь, батянька?

Отец засмеялся, ответил:

– Уйми ты, сынок, мать!.. Душу она мне вынает своим ревом. Я на войну иду, а она не пускает!..

– И я с тобой, батянька!

Отец подпоясаясь ремнем и надел шапку с лентами.

– Чудак ты, право! Нельзя нам обоим уходить сразу!.. Вот я вернусь, потом ты пойдешь, а то хлеб поспеет, кто же его будет убирать? Мать по хозяйству, а дед старый...

Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся. Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, насилу он ее стряхнул, а дед только крикнул, целуя служивого, шепнул ему на ухо:

– Фомушка... сынок!.. Может, не ходил бы? Может, без тебя как-нибудь?.. Не ровен час, убьют, пропадем мы тогда!..

– Брось, батя... Негоже так. Кто же будет оборонять нашу власть, коли каждый к бабе под подол хорониться полезет?

– Ну что ж, иди, ежели твое дело правое.

Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Провожать отца пошли до исполкома. Во дворе исполкомском толпятся человек двадцать с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз, вместе с остальными зашагал по улице на край станицы.

Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Маманька, покачиваясь, тянулась сзади. По станице реденький собачий лай, реденькие огни. Станица покрылась ночной темнотой, словно старуха черным полушалком. Накапывал дождик, где-то за станицей, над степью, резвилась молния и глухими рассыпчатыми ударами бухал гром.

Подшли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу, спросил у деда:

– Дедуня, а на кого батяня пошел воевать?

– Отвяжись!..

– Дедуня!

– Ну?

– С кем батянька будет воевать?

Дед заложил ворота засовом, ответил:

– Злые люди объявились по суседству с нашей станицей. Народ их кличет бандой, а по моему, просто разбойники... Вот отец твой и пошел с ними отражаться.

– А много их, дедушка?

– Болтают, что около двухсот... Ну, иди, постреленыш, спать, будет тебе околачиваться!

Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, полапал по кровати – деда нет.

– Дедуня, где ты?

– Молчи!.. Спи, неугомонный!

Мишка встал и ощупью в потемках добрался до окна. Дед в одних исподниках сидит на лавке, голову высунул в раскрытое окно, слушает. Прислушался Мишка и в немой тишине ясно услышал, как за станицей часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы.

Трах!... та-тра-рах!... та-трах!

Будто гвозди вбивают.

Мишку охватил страх. Прижался к деду, спросил:

– Это батянька стреляет?

Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала.

До рассвета слышались за станицей выстрелы, потом все смолкло. Мишка калачикам свернулся на лавке и уснул тяжелым, нерадостным сном. На заре по улице к исполкому проскакала куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор.

Во дворе исполкома черным столбом вытянулся дым, огонь перекинулся на постройки. По улицам засновали конные. Один подскакал к двору, крикнул деду:

– Лошадь есть, старик?

– Есть...

– Запрягай и езжай за станицу! В хворосте ваши коммунисты лежат!.. Навали и вези, нехай родственники зароят их!

Дед быстро запряг Савраску, взял в дрожащие руки вожжи и рысью выехал со двора.

Над станицей поднялся крик, спешившиеся бандиты тащили с гумен сено, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора Анисимовны, вбежал в хату. Мишка услышал, как Анисимовна завывала толстым голосом. А бандит, брякая шашкой, выбежал на крыльцо, сел, разулся, разорвал пополам цветастую праздничную шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и обернул ноги половинками шали.

Мишка вошел в горницу, лег на кровать, придавил голову подушкой, встал только тогда, когда скрипнули ворота. Выбежал на крыльцо, увидал, как дед с бородой, мокрой от слез, вводит во двор лошадь.

Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки, голова его, подпрыгивая, стучается об задок, течет на доски густая, черная кровь...

Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами: видны оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха.

Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса, перевел взгляд и, увидев на груди, на матросской рубахе, синие и белые полосы, залитые кровью, вздрогнул, словно кто-то сзади ударил его по ногам, широко раскрытыми глазами взглянул еще раз в недвижимое черное лицо и прыгнул на повозку.

– Батянюшка, встань! Батянюшка – миленький!.. – Упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой в песок.

* * *

У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова трясется и прыгает, губы шепчут что-то беззвучно.

Долго молча гладил Мишку по голове, потом, поглядывая на мать, лежавшую плашмя на кровати, шепнул:

– Пойдем, внучек, во двор...

Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка, шагая мимо дверей горницы, зажмурил глаза, вздрогнул: в горнице на столе лежит батянька, молчаливый и важный. Кровь с него обмыли, но у Мишки перед глазами встает батянькин остекленевший кровавистый глаз и большая зеленая муха на нем.

Дед долго отвязывал у колодца веревку; пошел в конюшню, вывел Савраску, зачем-то вытер ему пенистые губы рукавом, потом надел на него узду, прислушался: по станице крики, хохот. Мимо двора едут верхами двое, в темноте посверкивают сигарки, слышны голоса:

– Вот мы им и сделали разверстку!.. На том свете будут помнить, как у людей хлеб забирать!..

Переборы лошадиных копыт умолкли, дед нагнулся к Мишкиному уху, зашептал:

– Стар я... не влезу на коня... Посажу я тебя, внучек, верхом, и езжай ты с богом на хутор Пронин... Дорогу я тебе укажу... Там должен быть энтот отряд, какой с музыкой шел через нашу станицу... Скажи им, нехай идут в станицу: тут, мол, банда!.. Понял?..

Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и через гумно, мимо пруда, мимо бандитской заставы провел Савраску в степь.

– Вот в бугор пошла балка, над ней езжай, никуда не свиливай!.. Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родный!..

Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску ладонью.

Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой рысцей, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу, убавляет шаг. Мишка трогает его поводьями, хлопает рукой по шее, трясется, подпрыгивая.

Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гущине зреющих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода, ветер тянет прохладой.

Мишке страшно одному в степи, обнимает руками теплую Савраскину шею, жмет к нему маленьким, зябким комочком.

Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору. Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о чем. В ушах у него застывает тишина, глаза закрыты.

Савраска мотнул головой, фыркнул, прибавил шаг. Чуть-чуть приоткрыл Мишка глаза – увидел внизу, под горой, бледно-желтые огоньки. Ветром донесло собачий лай.

Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь. Толкнул Савраску ногами, крикнул:

– Но-о-о-о!..

Собачий лай ближе, видны на пригорке смутные очертания ветряка.

– Кто едет? – окрик от ветряка.

Мишка молча понукает Савраску. Над сонным хутором заголосили петухи.

– Стой! Кто едет?.. Стрелять буду!..

Мишка испуганно натянул поводья, но Савраска, почуявший близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводьев.

– Сто-о-ой!..

Около ветряка ахнули выстрелы. Мишкин крик потонул в топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в дыбки и грузно повалился на правый бок.

Мишка на мгновение ощутил страшную, непереносимую боль в ноге, крик присох у него на губах. Савраска наваливался на ногу все тяжелее и тяжелее.

Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая шашками, прыгнули с лошадей, нагнулись над Мишкой.

– Мать родная, да ведь это парнишка!..

– Неужто ухлопали?!

Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо дохнул табаком. Чей-то обрадованный голос сказал:

– Он целенький!.. Никак, ногу ему конь раздавил?..

Теряя сознание, прошептал Мишка:

– Банда в станице... Батяньку убили... Сполком сожгли, а дедуня велел вам скорейча ехать туда!

Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные круги...

Прошел мимо батянька, усы рыжие крутит, смеется, на глазу у него сидит, покачиваясь, большая зеленая муха. Дед прошагал, укоризненно качая головой, маманька, потом маленький лобастый человек с протянутой рукой, и рука указывает прямо на него, на Мишку.

– Товарищ Ленин!.. – вскрикнул Мишка глохнущим голосом, силясь, приподнял голову – и улыбнулся, протягивая вперед руки.

1925

Коловерть

I

На закате солнца вернулся из станицы Игнат.

Хворостяными воротами поломал островерхий сугроб, лошадь заиневшую ввел во двор и, не отпрягая, взбежал на крыльцо. Слышно было, как в сенцах скрипели обмерзшие половицы и по валенкам торопливо шуршал веник, обметая снег. Пахомыч, тесавший на печке топорище, смел с колен стружки, сказал младшему сыну Григорию:

– Ступай кобыленку отпряги, сена я наметал в конюшне.

Дверь широко распахнув, влез Игнат, поздоровался и долго развязывал окоченевшими пальцами башлык. Морщась, сорвал с усов сосульки тающие и улыбнулся, радости не скрывая:

– Слухом пользовался – красногвардейцы на округ идут...

Пахомыч ноги свесил с печки, спросил с любопытством сдержанным:

– Войной идут али так?

– Разно гутарют... А только беспокойствие в станице, томашится народ, в правлении миру видимо-невидимо.

– Не слышал молвишки в счет земли?

– Гутарют, что большевики землю помещичью под гребло берут.

– Та-а-ак, – крикнул Пахомыч и соскочил с печки по-молодому.

Старуха у загнетки загремела ложками; щи в чашку наливая, сказала:

– Кличьте вечерять Гришатку.

На дворе смеркалось. Снежок перепадывал, и синевою хмурилась ночь. Пахомыч ложку отложил, бороду вытирая расшитым рушником, спросил:

– Про мельницу паровую разузнал? Когда пущать будут?

– Мельница работает в размол, можно везть.

– Ну, кончай вечерять, и пойдем в амбар. Зерно надо перевеять, завтра, как удастся погода, уторком поеду смолоть. Дорога-то как, избитая?

– Шлях не спит, день и ночь едут, только разъезжаться трудновато. Сбочь дороги снегу глыбже пояса.

II

Григорий вышел за ворота проводить.

Пахомыч натянул рукавицы и угнезвился в передке.

– На корову поглядывай, Гриша. Вымя налила она, что не видно⁴ отелится...

– Ладно, батя, трогай!

Полозья саней с хрустом кромсают оттаявшую снежную корку. Вожжами волосяными Пахомыч шевелит, золу, просыпанную на улице, объезжает. Попадает оголенная земля – подреза липнут. Спины напружив, угинаясь, тянут лошади. Хоть и снасть справная, и кони сытые, а Пахомыч нет-нет да слезет с саней, кряхтя, – больно уж важно нагрузили мешков.

На гору выбрался, дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысцей шаговитой. Где приглянулось, оттепель сжевала снег, дорогу дурашливо изухабила. Теплынь на провесне. Тает. Полдень.

⁴ Что не видно – очень скоро, вот-вот.

Лес начал огибать Пахомыч – навстречу тройка стелется. А снегу возле леса намело горы. В сугробах саженных дорожку прогрызли узенькую, разминуться никак невозможно.

– Эка, скажи на милость, оказия-то! Тпру!..

Приостановил Пахомыч лошадей, слез и шапку снял. Голову седую и потную ветер облиывает. Потому снял Пахомыч шапчонку свою убогую, что опознал в тройке встречной выезд полковника Черноярова Бориса Александровича. А у полковника землю он арендовал восемь лет подряд.

Тройка ближе. Бубенцы промеж себя разговорчики вполголоса ведут. Видно, как с пристяжных пена шмотьями брызжет и тяжело-тяжело колыхнется коренник. Привстал кучер, кнутом машет:

– Сворачивай, ворона седая!.. Что дорогу-то перенял?!

Поравнялся и лошадей осадил. Пахомыч, в полах полушубка путаясь, с головой непокрытой к санкам подбежал, поклон отвалил низенький.

Из саней, медвежьим мехом обитых, пучатся не мигая глаза стоячие. Губы, рубчатые, выскобленные досиня, кривятся.

– Ты почему, хам, дог-огу не уступаешь? Большевистскую свободу почуял? Г-авноп-авие?..

– Ваше высокоблагородие!.. Христа ради, объезжайте вы меня. Вы порожнем, а у меня вага... Я ежели свильну с дороги, так и не выберусь.

– Из-за тебя я буду лошадей кг-овных в снегу душить?.. Ах ты, сволочь!.. Я тебя научу уважать офицер-ские погоны и уступать дог-огу!..

Ковер с ног стряхнул и перчатку лайковую кинул на сиденье.

– Аг-тем, дай сюда кнут!

Прыгнул полковник Чернояров с саней и, размахнувшись, хлопбыстнул кнутом Пахомыча промеж глаз.

Охнул старик, покачнулся, лицо ладонями закрыл, а сквозь пальцы кровь.

– Вот тебе, негодяй, вот!..

Бороду Пахомычеву седую дергал, хрипел, брызгаясь слюной.

– Я из вас дух кг-асногваг-дейский выколочу!.. Помни, хам, полковника Чег-нояг-ова!.. Помни!..

Над талой покрывкой снега маячит голубая дуга. Бубенцы говорят невнятным шепотом... Сбочь дороги, постромки обрывая, бьются лошади Пахомыча, сани опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно, а он тройку глазами немигающими провожает. Будет провожать до тех пор, пока не скроется в балке задок саней, выгнутых шеей лебединой.

Век не забыть Пахомычу полковника Черноярова Бориса Александровича.

III

С ведрами от криницы идет Пахомычева старуха.

В вербах, стыдливо голых, беснуются грачи. За дворами, на бугре, промеж крыльев красношапого ветряка, на ночь мостится солнце. В канавах вода кряхтит натужисто, плетни раскачивается. А небо – как вянувший вишневый цвет.

Ко двору подошла, у ворот подвода. Лошади почтовые, с хвостами куце покрученными, и у ног их, захлюстанных и зябких, куры парной помет гребут. Из тарантаса, полы офицерской шинели подбирая, высокий, узенький – в папахе каракулевой – слез. Повернулся к старухе лицом иззябшим.

– Мишенька!.. Сыночек!.. Нежданный!..

Коромысло с ведрами кинула, шею охватила, губами иссохшими губы не достанет, на груди бьется и ясные пуговицы и серое сукно целует.

От материной кофтенки рваной навозом коровьим воняет. Отодвинулся слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул.

– Неудобно на улице, мамаша... Вы укажите, куда лошадей поставить, и чемодан мой снесите в комнату... Заезжай во двор, слышишь, кучер?

IV

Хорунжий. Погоны новенькие. Пробритый рядок негустых волос. Свой: плоть от плоти, а стесняется Пахомыч, как чужого.

– Надолго приехал, сынок?

Сидит Михаил у окна, пальцами бледными, не рабочими, по столу постукивает.

– Я командирован из Новочеркасска со специальным поручением от войскового атамана. Пробуду, очевидно... Мамаша! Сотрите молоко со стола, что за неопрятность... Пробуду здесь месяца два.

Игнат с база пришел, следя грязными сапогами.

– Ну, здорово, братуха!.. С прибытием.

– Здравствуй.

Руку протянул Игнат, хотел обнять, но как-то разминулись, и пальцы сошлись в холодном и неприязненном пожатии.

Улыбаясь натянуто, сказал Игнат:

– Ты, братушка, ишо погоны носишь, а у нас давно их к черту посымали...

Брови нахмурил Михаил.

– Я еще казачьей чести не продал.

Помолчали нудно.

– Как живете? – спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги.

Пахомыч с лавки метнулся к сыну.

– Дай я сыму, Миша, ты руки вымажешь. – На колени стал Пахомыч, сапог осторожно стягивая, ответил: – Живем – хлеб жуем. Наша живуха известная. Что у вас в городе новишк?

– А вот организуем казаков отражать красногвардейщину.

Спросил Игнат, глаза в земляной пол воткнувши:

– А через какую надобность их отражать?

Улыбнулся Михаил криво:

– Ты не знаешь? Большевики казачества нас лишают и коммуны хотят сделать, чтобы все было мирское – и земля, и бабы...

– Побаски бабы рассказываешь!.. Большевики нашу линию ведут.

– Какую вашу линию?

– Землю у панов отымают и народу дают, вон она куда кривится, линия-то...

– Ты что же, Игнат, за большевиков стоишь?

– А ты за кого?

Промолчал Михаил. Сидел, к окну заплаканному повернувшись, и, улыбаясь, чертил на стекле бледные узоры.

V

За буераком, за верхушками молодых дубков, курган могильный над Гетманским шляхом раскорячился.

На кургане обглоданная столетиями ноздреватая каменная баба, а через голову ее, прозеленью обросшую, солнце по утрам переваливает, вверх карабкается и сквозь мглистое покрывало пыли заботливо, словно сука щенят, лижет степь, сады, черепичные крыши домов липкими горячими лучами.

Зарею заехал от шляха с плугом Пахомыч. Ногами, от старости вихляющими, вымерял четыре десятины, щелкнул на муругих быков кнутом и начал чернозем плугом лохматить.

Давит на поручни Гришка, чуть не в колено землю выворачивает, а Пахомыч по борозде глянцевитой ковыляет, кнутом помахивает да на сына любитесь: даром что парню девятнадцатый год, а в работе любого казака за пояс заткнет.

Загона три прошли и остановились. Солнце всходит. С кургана баба каменная, в землю вросшая, смотрит на пахарей глазами незрячими, а сама алеет от солнечных лучей, будто пылем спеленатая. По шляху ветер пыльцу мучнистую затесал столбом колыхающимся. Пригляделся Гришка – конный скачет.

– Батя, никак Михайло наш верхи бежит?

– Кубыть, он...

Подскакал Михаил, бросил у стана взмыленную лошадь, к пахарям бежит, на пахоте спотыкается. Поравнялся – дух не переведет. Дышит, как лошадь запаленная.

– Чью вы землю пашете?!

– Нашевскую.

– Да ведь это земля полковника Черноярова? – Пахомыч высморкался и, подолом рубахи холщовой вытирая нос, сказал веско и медленно:

– Раньше была ихняя, а теперь, сынок, нашевская, народная...

Белея, крикнул Михаил:

– Батя! Знаю я, чье это дело!.. Гришка с Игнатом до худого тебя доведут!.. Ты ответишь за захват чужой собственности.

Пахомыч голову угнул норовисто:

– Наша теперя земля... Нету таких законов, чтоб иметь больше тыщи десятин... Шабаш! Равноправенство...

– Ты не имеешь права пахать чужую землю!..

– И ему права не дадены степью владать. Мы на солончаках сеем, а он позанял чернозем, и земля три года холостеет. Таковски есть права?..

– Брось пахать, отец, иначе я прикажу атаману арестовать тебя!..

Пахомыч повернулся круто, закричал, багровея и судорожно дергая головой:

– На свои кровные выучил... воспитал!.. Подлец ты, сучий сын!..

Аж зубами скрипнул позеленевший Михаил:

– Я тебя, старая... – Шагнул к отцу, кулаки сжимая, но увидел, как Гришка, ухватив железную занозу, бежит через пахоту прыжками, и, голову вбирая в плечи, не оглядываясь, пошел на хутор.

VI

У Пахомыча хата саманная. Частокол вокруг палисадника ребрами лошадиного скелета топорщится.

С поля приехал Григорий с отцом. Игнат баз заплетал хворостом, подошел, и от рук его пахуче несло пряным запахом листьев лежалых.

– Нас, Григорий, в правление требуют. На майдане сход хуторной.

– Зачем?

– Мобилизация, говорят... Красногвардейцы заняли хутор Калинов.

За гуменным пряслом меркла, дотлевала вечерняя заря. На гумне в ворохе рыжей половы остался позабытый солнечный луч, ветер с восхода ворохнул полову, и луч погас.

Гришка коня почистил, зерна задал. На крыльце кособоком вдовый Игнат с сынишкой шестилетним своим возился. Глянул мимоходом Гришка в глаза братнины, от смеха сузившиеся, шепнул:

– Ночью надо уезжать в Калинов, а то тут замобилизуют!..

Матери, выгонявшей из сенцев телка, сказал:

– Белье достань нам с Игнатом, маманя, сухарей всыпь...

– Куда вас лихоман понесет?..

– На кудыкино поле.

До поздней ночи на хуторском майдане гремел гул голосов. Пахомыч пришел оттуда затемно. У дверей амбара, где спал Гришка, остановился. Постоял и присел на каменный порожок обессиленно. Тошнотой нудной наливалось тело, сердце трепыхалось скуными ударами, а в ушах плескался колкий и тягучий звон. Сидел, поплеывая в блеклое отражение месяца, торчавшее в лужице примерзшей, и больно чувствовал, что налаженная, обычная жизнь уходит не оглянувшись и едва ли вернется.

Где-то у огородов около Дона надсадно брехали собаки, в лугу размеренно и четко бил перепел. Ночь раскрылатилась над степью и молочной мутью закутала дворы. Закряхтел Пахомыч, дверью скрипнул.

– Ты спишь, Гриша?

Из амбара пахнуло тишиной и слежавшимся хлебом. Внутрь шагнул, нащупал шубу овчинную.

– Гриша, спишь, что ли?

– Нет.

Старик на край шубы присел, услышал Гришка, как руки отцовы дрожью выплывают мелкой и безустальной. Сказал Пахомыч глухо:

– Поеду и я с вами... Служить... в большевики...

– Что ты, батя?.. А дома как же? Да и старый ты...

– Ну, что ж как старый? Буду при обозе состоять, а нет – так и в седле могу... А дома нехай Михайло правит... Чужие мы ему, и земля чужая... Нехай живет, Бог ему судья, а мы пойдем землю-кормилицу отвоевывать!

Разноголосо прогорланили первые петухи. Над Доном за изломистым частоколом леса заря заполыхала. Несмело и осторожно поползли тающие тени.

Вывел Пахомыч трех лошадей, напоил, потники заботливо разгладил, оседлал. Вместе со старухой Пахомыча всхлипнули гуменные воротца, лошадиные копыта сочно зацокали по солончаку.

– Надо летником ехать, батя, а то на шляху могут перевстреть! – вполголоса сказал Игнат.

Небо поблекло. Росой медвяной и знобкой вспотела трава. Из-за Дона, с песков лимонных, сыпучих, утро шагало.

VII

На защитном кителе полковника Черноярова звездочки чернильным карандашом скромненько вкраплены. Щеки мясистые в синих жилках. В стены паутинистые хуторского майдана баритон дворянски-картавый тычется. Пальцы розовато-пухлые, холеные, жестикулируют сдержанно и вполне прилично.

А кругом потной круговиной сгрудились, жарко дышат махорочным перегаром и хлебом пшеничным окисшим. Папахи красновехие, бороды цветастые. Рты, распаханые, ловят жадно, а баритон, картавящий, гаденький, из губ, дурной болезнью обглоданных:

– Дог-огие станичники!.. Вы исстаг-и были опог-ой цаг-я-батюшки и Г-одины. Тепе-гъ, в эту великую смутную годину, на вас смотг-ит вся Г-оссия... Спасайте ее, по-гуганную большевиками!.. Спасайте свое имущество, своих жен и дочег-ей... Пг-имег-ом выполнения гг-ажданского долга может послужить ваш хутог-янин хог-унжий Михаил Кг-амсков: он пег-вый сообщил нам пг-о то, что отец его и двабг-ата ушли к большевикам. И он пег-вый – как истинный сын тихого Дона – становится на его защиту!..

ПОСТАНОВИЛИ:

Казачков нашего хутора Крамскова Петра Пахомыча и сынов его, Игната и Григория Крамсковых, как перешедших на сторону врагов тихого Дона, лишитъ казачьего звания, а также всех земельных паев и наделов, и по поимке передать военно-полевому суду Вешенского юрта.

VIII

Около прошлогоднего стога сена отряд остановился кормить лошадей. У хутора за гуменым пряслом стучал пулемет.

Комиссар, раненный в щеку навывлет, на жеребце, белесом от пота, подскочил в тачанке, крикнул рвущимся и гундосым голосом:

– Гиблое дело!.. Видать, нашлапаят нам!..

Жеребца промеж ушей вытянул плетюганом и, харкая и давясь черными шмотьями крови, засипел командиру отряда на ухо:

– Не пробьемся к Дону – можем пропасть. Посекут нас казаки, мешанину сработают... Скликай в атаку идтить!..

Командир, бывший машинист чугунолитейного завода, такой же медлительный, как первые взмахи маховика, голову бритую приподнял, трубки изо рта не вынимая:

– По коням!..

Отъехал комиссар сажени три, спросил, оборачиваясь:

– Как думаешь, ликвидируют нас?.. – И поскакал, не дожидаясь ответа.

Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели, буравя сено; одна оторвала у тачанки смолянистую щепу и на лету приласкалась к пулеметчику. Выронил тот из рук портянку, в дегте измазанную, присел, по-птичьи подогнувши голову, нахохлился, да так и помер – одна нога в сапоге, другая разутая. С железнодорожного полотна ветер волоком притащил надтреснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к куче людей, затомашившихся, повернулось курносое раззявленное жерло, плюнуло, и, лязгая звеньями, снова тронулся бронепоезд «Корнилов» № 8, а плевков угодил правее скирда. Со скрежетом вывернул вязанку дегтярного дыма и спутанные арбузные плети от прошлогоднего урожая.

И долго еще под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы кряхтели, позванивая, а возле скирда в степи Пахомычева кобылица жеребая, с ногами, шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать: с хрипом голову вскидывала, на ногах подковы полустертые блестя. Песчаник жадно пил розоватую пену и кровь.

Болью колючей черствело сердце, шептал Пахомыч:

– Матка племенная... Эх, не брал бы, кабы знать!..

– Дуришь, батя!.. – на скаку прокричал Игнат. – Беги на бричку садись – видишь, в атаку лупим!..

Вслед ему глянул старик равнодушно.

Пулеметный треск, будто холстинное полотнище в клочья шматуют. На патронных ящиках лежал Пахомыч, слюну горько-приторную сплевывал. А над землей, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнувших чабрецом и полынью, маревом дым-

чатым, струистым плыл сладкий запах земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших.

Подрагивала выщербленная голубая каемка леса над горизонтом, и сверху сквозь золотистое полотнище пыли, разостланное над степью, жаворонок вторил пулеметам бисерной дробью. Григорий за патронами подскакал.

– Не горюй, батя. Кобыла – дело наживное!..

Губы Гришкины бурые порепались от жары, веки от ночной бессонницы набухли.

В обнимку взял два ящика и взвихрился, потный и улыбающийся.

К вечеру подошли к Дону. Из лощины до сумерек садила батарея, по бугру маячили казачьи разъезды. Ночью желтый настырный глаз прожектора шнырял по зарослям терна, нащупывал коновязи, палатки, людей. Минуту цепко излапывал их, поливая светом мертвенным, и гас.

С рассветом – с бугра густо, цепь за цепью, как волны. Из терна вихрастого стрельба пачками с прицелом, с выдержкой. В полдень командир отряда о подошву сапога излатанного выбил трубку, взглядом равнодушно-тяжелым обвел всех:

– Неустойка выходит, товарищи!.. Плывите через реку, в десяти верстах хутор Громов. – Закончил устало: – Там – наши...

Коня расседывая, крикнул Гришка отцу:

– Чего ж ты?!

– Глупство!.. – строго сказал Пахомыч, а у самого челюсть нижняя запрыгала. – Плыви, Гриша!.. Коня разнуздай... А я того... стар уже...

– Прощай, батя!..

– С богом, сынок!..

– Ну, иди, лысый! Да ну же, черт, спужался!..

По пояс, по грудь, а вот уж одна голова Гришкина с бровями насупленными да сторожие уши коня над сизой водой.

Загнал Пахомыч обойму сплюснутым пальцем, на мушку ловил перебежавшие фигурки людей, потом выкинул последнюю дымную гильзу и руки волосатые поднял:

– Пропадаем, Игнат!..

В упор в лошадиную морду выстрелил Игнат, сел, широко расставив ноги, сплюнул на сырую, волнами нацелованную гальку и ворот рубахи защитной разорвал до пояса.

IX

За завтраком Михаил усики белобрысые нафиксатуаренные самодовольно накручивал.

– Теперь, мамаша, меня произвели в сотники за то, что большевизм в корне пресекаю. Со мною очень не разбалуешься, чуть что – и к стенке!

Мать вздохнула:

– А как же, Миша, наши?.. На случай, может, придут они...

– Я, мамаша, как офицер и верный сын тихого Дона, не должен ни с какими родственными связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной – все равно передам суду...

– Сыночек!.. Мишенька!.. А я-то как же?.. Всех вас одной грудью кормила, всех одинаково жалко!..

– Без всяких жалостей!.. – Глазами повел строго на сынишку Игнатов. – А этого щенка возьмите от стола, а то я ему, коммуначескому выродку, голову отверну!.. Ишь, смотрит каким волчонком... Вырастет, гаденыш, тоже большевиком будет, как отец!..

Х

На огороде возле Дона полой водой и набухающими почками тополей пахнет. Волны гребенчатые укачивают диких казарок, плетни огорода лижут, обсасывают.

Сажала картофель Пахомычева старуха, двигалась промеж лунок натужисто. Нагнется, и кровь полыхнет в голову, закружит ее тошно. Постоит и сядет. Молча глядит на черные жилы, спутавшиеся на руках узлом замысловатым. Губами ввалившимися шамшит беззвучно.

За плетнем Игнатов сынишка в песке играет.

– Бабуня!

– Аюшки, внучек?

– Поглянь-ка, бабуня, чего вода принесла.

– Чего же она принесла, родимый?

Встала старая, лопату не спеша воткнула, дверцами скрипнула. На отмели ногами к земле – лошадь дохлая лоснится от воды, наискось живот лопнул, а ветерком вонь падальную наносит.

Подошла.

Шею лошадиную мертвые руки человека обняли неотрывно, на левой повод уздечки замотан накрепко, назад голова запрокинута, и волосы на глаза свисли. Глядела, не моргая, как губы, рыбой изъеденные, смеялись, ощеря мертвый оскал зубов, и упала...

Космами седыми мотая, на четвереньках в воду сползла, голову черную охватила, мычала:

– Гри-ша!.. Сы-но-о-ок!..

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 186

За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах Верхне-Донского округа сотник Крамсков Михаил производится в подъесаулы и назначается комендантом при Н-ском военно-полевом суде.

Командующий Северным фронтом:

Генерал-майор М. Иванов.

Адъютант (подпись неразборчива).

ХІ

Дорога обугленная. Конвойные верхами, и их двое. Подошвы в ранах гнойных. В одном белье, покоробленном от крови. По хуторам, по улицам, униженным людьми, под перекрестными побоями. На другие сутки вечером – хутор родной. Дон и синеющая грядуха меловых гор, словно скученная отара овец. Нагнулся Пахомыч и клочок зеленой пшеницы выдернул, губами задвигал трудно:

– Угадываешь, Игнат?.. Наша земля... с Гришей пахали...

Сзади свист плети витой.

– Без разгово-ров!..

Молча, головы угнув, по хутору. Ноги свинцовеют. Мимо частокола, мимо хаты саманной. Глянул Пахомыч на двор, ошетилившийся бурьяном махровитым, и грудь потер там, где колом, бóльным и неловким, растопырилось сердце.

– Батя! Вон мать на гумне...

– Не видит!..

Сзади:

– Молчи, сволочуга!..

Площадь, поросшая пышатками кучерявыми. Правление. Сходка у крыльца.

– Здорово, Пахомыч!.. Никак, землю отвоевывать ходил?

– Он отвоевал уж на кладбище сажень.

– Наука будет старому кобелю!

Палец с ногтем выпуклым, как броня черепахи, Пахомыч поднял, выдавил, судорожно переводя дух:

– Н-но, растаку вашу... Хучь погибнем мы, хучь и добро прахом пойдет, а вам... памятку вложат. Не ваша правда!

Боком подошел к Пахомычу сосед Анисим Макеев, развернулся и молчком, зубы ощерив из рыжей бороды, ударил Пахомыча в голову.

– Бей их!!! – крик сзади.

С звериным сопением сомкнулась немая человеческая волна, папахами красноверхими перекипала, сгрудилась в бешеной возне. Под drobный топот вязко и сочно стряли удары... Но с крыльца правления коршуном сорвался Микишара, клином разбороздил колыхавшуюся толпу. Вырвался в рубахе изорванной, белый, с перекошенным ртом, орал:

– Братцы!.. Фронтовики!.. Не допускай к убийству!.. – Шашку выдернул из ножен, над головой веером развернул сверкающую сталь. – На фронт их нету, так-перетак... А тут убивать могут?!

– Бей Микишару!.. Большункам продался!..

Стеной плотной стали Микишара и восемь фронтовиков, в отпуск пришедших, от толпы отгородили Пахомыча и Игната.

Постояли старики, погломонили и кучками пошли с площади. Смеркалось...

* * *

– Хотелось бы ваше г-ешающее слово услышать, подьесаул. Г-азумеется, мы обязаны их г-асстг-елять, но как-никак, а это ваши отец и бг-ат... Может быть, вы возьмете на себя тг-уд ходатайствовать за них пег-ед войсковым наказным атаманом?..

– Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить царю и Всевеликому войску Донскому...

С жестом трагическим:

– У вас, подьесаул, благог-одная душа и мужественное сег-дце. Давайте я вас по г-усскому обычаю г-асцелую за вашу самоотвег-женность в деле служения пг-естолу и г-одному наг-оду!..

Троекратный чмок и пауза.

– Как вы полагаете, дог-огой подьесаул, не вызовем ли мы г-асстг-елом возмущения сг-еди беднейших слоев казачества?

Долго молчал подьесаул Крамсков Михаил, потом, головы не поднимая, сказал глухо:

– Есть надежные ребята в конвойной команде... С ними можно отправить в новочеркаскую тюрьму... Не проговорятся ребята... А арестованные иногда пытаются бежать...

– Я вас понимаю, подьесаул!.. Можете г-ассчитывать на чин есаула. Дайте пожалть вашу г-уку!..

ХП

Сарай для военнопленных, как паучье гнездо паутиной, опутан колючей проволокой. По ту сторону Игнат и Пахомыч, с лицами чугунными, опухшими; с улицы сынишка Игнатов в

картузе отцовском, старуха Пахомычева руками окаменевшими к проволоке тоскливо пристыла, моргает веками кровавыми, рот кривит, а слез нет – все выплакала.

Пахомыч тяжело ворочает разбитым языком:

– Пшеницу нехай Лукич скосит, заплатишь ему, отдашь телушку-летошницу.

Губами пожевал, сухо закашлялся:

– По нас же не горюй, старуха!.. Пожили... Все там будем. Посля панихидку отслужи. Поминать будешь, не пиши: «красногвардейца Петра», а прямо – «воинов убиенных Петра, Игната, Григория»... А то поп не примет... Ну, затем прощай, старуха!.. Живи... Внука береги. Прости, коль обидел когда...

Сынишку Игнат на руки взял; часовой, как будто не видит, отвернулся. Пальцами прыгающими из камыша мельницу мастерит сыну Игнат.

– Папаня, а чего у тебя кровь на голове?

– Это я ушибся, сынок.

– А на что тебе вон этот дядя ружьем вдарил, как ты из сарая выходил?

– Чудак ты какой!.. Он нарочно вдарил, шутейно...

Молчат. Камышовые былки под ногтями у Игната перезванивают.

– Пойдем домой, папаня? Ты мне мельницу дома сделаешь.

– Ты с бабуней иди, сынушка... – Губы у Игната жалко дрогнули, покривились. – А я потом приду...

Ходит Игнат по двору, будто волк на привязи, ногу, прикладом перебитую, волочит и тельце маленькое шуплое к груди жмет, жмет, жмет.

– Папанька, начто у тебя глаза мокрые?

Молчит Игнат.

Потухли сумерки. С луга, с болот уремистых, из зарослей ольхи и мочажинника туман на сады свалился росой – проседью серебряной. Траву притолок к земле, заолодевшей и влажной.

Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами подьесаула, в папаше каракулевой, высокий, узенький, сказал тихо, вполголоса, самогонным перегаром дыша:

– Далеко не водить! За хутор, в хворост!..

В тишине настороженной шаги гулкие и лязг винтовочных затворов.

Ночь свалилась беззвездная, волчья. За Доном померкла лиловая степь. На бугре – за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых – ночью щенилась волчица: стонала, как женщина в родах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку – из лощины, из зарослей хвороста – два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик.

Прислушалась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завывла волчица хрипло и надрывно.

1925

Семейный человек

За окраиной станицы промеж немощно зеленой щетины хвороста стрянет солнце. Иду от станицы к Дону, к переправе. Влажный песок под ногами пахнет гнилью, как перепрелое, набухшее водой дерево. Дорога путаной заячьей стежкой скользит по хворосту. Натуживаясь и багровея, солнце плюхнулось за станичное кладбище, и следом за мною по хворосту голубизной за клубились сумерки.

Паром привязан к причалу, лиловая вода квохчет под исподом; приплясывая и кособо-чась, стонут в уключинах весла.

Паромщик черпалом скребет по замшевшему днищу, выплескивает воду. Приподымая голову, глянул на меня косо прорезанными желтоватыми глазами, буркнул нехотя:

– На тот бок правишься? Зараз поедem, отвязывай причал!

– Угребем мы двое?

– Надо бы угресть. Ночь спускается, а народ то ли подойдет, то ли нет.

Подсучивая шаровары, снова глянул на меня, спросил:

– Гляжу я – не свойский ты человек, не из наших краев... Откель Бог несет?

– Иду домой из армии.

Паромщик скинул фуражку, кивком головы отбросил назад волосы, похожие на витое кавказское серебро с чернью, подмигивая мне, ощерил съеденные зубы:

– Как же идешь – по отпуску аль потаенно?

– Демобилизованный. Год мой спустили.

– Что ж, дело спокойное...

Сели за весла. Дон, играючи, поволок нас к затопленной молодой поросли прибрежного леса. О шершавое днище парома сухо чешется вода. Босые, исполосованные синими жилами ноги паромщика пухнут связками мускулов, посинелые ступни липнут, упираясь в скользкую перекладину. Руки у него длинные, костистые, пальцы в узловатых суставах. Он – высокий, узкоплечий, гребет нескладно, сгорбавшись, но весло услужливо ложится на гребенчатую спину волны и глубоко буровит воду.

Я слышу его ровное, без перебоев, дыхание; от вязаной шерстяной рубахи пахнет едким потом, табаком и пресным запахом воды. Бросил весло, повернулся ко мне лицом:

– Запахаживается, что затрет нас в лесу! Дурна шутка, а делать нечего, парнище!

На середине течение напористей. Паром рванулся, норовисто кинул задом, кособо-чась потянулся к лесу. Через полчаса прибило нас к затопленным вербам. Весла обломались. В уключине обиженно суетился расщепленный обломок. В пробойну, хлюпая, сочилась вода. Ночевать перебрались мы на дерево. Паромщик, окарачив ветку ногами, сидел рядом со мной, попыхивал глиняной трубкой, говорил, прислушиваясь к пересвисту гусиных крыльев, резавших над головами вязкую темь:

– Идешь ты к дому, к семье... Мать небось ждет: сынок-кормилец вернется, старость ее пригреет, а ты, должно, близко к сердцу не принимаешь того, что она, мать твоя, белым днем чахнет по тебе, а ночью слезами материнскими исходит... Все вы, сынки, таковские... Пока не нажил своего приплоду, до тех пор и не лежит у вас душа к родительским страданиям. А сколько их каждому приходится переносить?

Иная баба порет рыбу и раздавит желчь; уху-то хлебаешь, а в ней горечь неподобная. Так вот и я: живу, только хлебать-то припадает самую горечь... Иной раз терпишь-терпишь, да и скажешь: «Жизня, жизнь, когда ты похужеешь?..»

Ты человек не свойский, посторонний, – вот ты и обсуди умом: в какую петлю мне голову просовывать?

Есть у меня дочь Наташка, нынешний год идет ей семнадцатая весна. Вот она и говорит:

– Гребостно мне с вами, батя, за одним столом исть. Как погляжу я на ваши руки, так сразу вспомню, что этими руками вы братьев побили; и с души рвать меня тянет...

А этого она, сучка, не понимает, через кого все так поделалось? Да все через них же, через детей!

Женился я молодым; баба мне попалась плодущая, восьмерых голопузых нажеребила, а на девятом скопытилась. Родить-то родила, только на пятый день в домовину убралась от горячки... Остался я один, будто кулик на болоте, а детишек ни одного Бог не убрал, как ни упрашивал... Самый старший Иван был... На меня похожий, чернявый собой и с лица хорош... Красивый был казак и на работу совестливый. Другой был у меня сынок четырьмя годами моложе Ивана. Энтот в матерю зародился: ростом низенький, тушистый, волосы русые, ажник белесые, а глаза карие, и был он у меня самый коханный, самый желанный. Данилой звали его... Остальные семеро ртов – девки и ребятенки малые. Выдал я Ивана в зятя на своем же хуторе, и вскорости родилось дите у него. Данилу тоже было счинаясь женить, но тут наступило смутное время. Получилось у нас в станице противу советской власти восстание! Прибегает на другой день ко мне Иван.

– Давайте, – говорит, – батя, уходить к красным. Христом Богом прошу вас! Нам нужно ихнюю сторону одерживать затем, что власть до крайности справедливая.

Данила тоже в это самое уперся. Долго они меня сманивали, но я им так сказал:

– Вас я не приневоливаю, идите, а я никуда не пойду. У меня, окромя вас, – семеро по лавкам, и каждый рот куска просит!

С тем они и скрылись с хутора, а станица наша вооружилась чем попадя, и меня под белы руки и на фронт.

На сходе говорил я:

– Господа старики, всем вам известно, что я человек семейный. Семерых детишек имею. Ну, как ухлопают меня, кто тогда будет семью мою оправдывать?

Я так, я сяк – нет!.. Безо всяких вниманиев сгребли и отправили на фронт.

Позиции стали как раз под нашим хутором. И вот, дело это было под Пасху, пригоняют в хутор девять человек пленных, и Данилушка – голубь мой любимый – с ними... Провели их по площади к сотенному. Казаки на улицу высыпали, шумят:

– Побить их, гадов! Как выведут с допроса – крой в нашу силу!..

Стою я промеж них, колени у меня трясутся, но видимости не подаю, что жалко мне сына, Данилушку-то... Поведу глазами этак в сторону, вижу – шепчутся казаки и головами на меня кивают... Подошел ко мне вахмистр Аркашка, спрашивает:

– Ты что же, Микишара, будешь коммунов бить?

– Буду, злодеев таких-сяких!..

– Ну, на тебе штык и становись на крыльцо. – Дает мне штык, а сам ощеряется: – Примечаем мы за тобой, Микишара... Гляди – плохо будет.

Стал я на порошках, думаю: «Матерь Пречистая, неужто я сына буду убивать?»

Слышу у сотенного крик. Вывели пленных, а попереди Данила мой... Глянул я на него, и захладила у меня душа... Голова у него вспухла, как ведро, – будто освежеванная... Кровь комом спеклась, перчатки пуховые на голове, чтоб не по голому месту били... Кровью напились они и к волосам присохли... Это их дорогой к хутору били... Идет он по сенцам, качается. Глянул на меня, руки протянул... Хочет улыбнуться, а глаза в синих подтеках и один кровью заплыл...

Понял я тут: ежели не вдарю его, то убьют меня свои же хуторные, останутся малые дети горькими сиротами... Поравнялся он со мной.

– Батя, – говорит, – родной мой, прощай!..

Слезы у него кровь по щекам смывают, а я... насилу руку поднял... будто окостенел... В кулаке у меня штык зажатый. Вдарил я его тем концом, какой на винтовку надевается. В

это место вдарил, повыше уха... Он как крикнет – ой! – заслонил лицо ладонями и упал с порожек... Казаки гогочут:

– Омочай их, Микишара! Ты, видно, прижеливаешь свою Данилку!.. Бей, а то тебе кровушку пустим!..

Сотенный вышел на крыльцо, сам ругается, а в глазах – смех... Как начали их штыками пороть, у меня душа замутилась. Кинулся я в улочку бежать, глянул в сторону – увидал, как Данилушку мово по земле катают. Воткнул ему вахмистр штык в горло, а он только – крррр.

Внизу под напором воды хрустнули доски парома, слышно было, как хлынула вода, а верба дрогнула и тягуче заскрипела. Микишара потрогал ногою вздыбившуюся корму, сказал, выбивая из трубки желтую метелицу искр:

– Утопает наш паром, завтра придется до полудня дневалить на вербе. Вот случай какой выпал!..

Долго молчал, потом, понижая голос, глухо заговорил:

– Меня за энто дело в старшие урядники произвели...

Много воды в Дону утекло с той поры, а досель вот ночью иной раз слышу, как будто кто хрипит, захлебывается... Тогда, как бежал, слышал Данилушкин-то хрип... Вот она, совесть, и убивает...

До весны держали мы фронт против красных, потом соединился с нами генерал Секретёв, и погнали красных за Дон, в Саратовскую губернию. Я – человек семейный, а от службы никакого послабления не дали, потому что сыны в большевиках. Дошли мы до города Балашова. Про Ивана – сына старшего – ни слуху ни духу. Как прознали казаки – чума их ведаёт, что Иван от красных перешел и служит в тридцать шестой казачьей батарее. Грозились хуторные: «Ежели найдем где Ваньку, душу вынем».

Заняли мы одну деревню, а тридцать шестая там...

Нашли мово Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люто избили казаки и сказали мне:

– Гони его в штаб полка!

Штаб стоял верстах в двенадцати от этой деревни. Дает сотенный мне бумагу и говорит, а сам в глаза не глядит:

– Вот тебе, Микишара, бумага. Гони сына в штаб: с тобой надежней, от отца он не убежит!..

И вразумил тут меня Господь. Догадался я: к тому они меня в конвой назначают, думают, что пуцу я сына на волю, опосля и его словят, и меня убьют...

Прихожу я в ту хату, где содержали Ивана под арестом, говорю страже:

– Давайте арестованного, я его погоню в штаб.

– Бери, – говорят, – нам не жалко!..

Накинул Иван шинель внапашку, а шапку покрутил-покрутил в руках и кинул на лавку. Вышли мы с ним за деревню на бугор, он молчит, и я молчу. Поглядываю назад, хочу приметить, не следят ли нас. Только дошли мы до полпути, часовенку минули, а позаду никого не видно. Тут Иван обернулся ко мне и говорит жалостно так:

– Батя, все одно в штабе меня убьют, на смерть ты меня гонишь! Неужто совесть твоя досель спит?

– Нет, – говорю, – Ваня, не спит совесть!

– А не жалко тебе меня?

– Жалко, сынок, сердце тоскует смертно...

– А коли жалко – пусти меня... Не нажился я на белом свете!

Упал посередь дороги и в землю мне поклонился до трех раз. Я ему и говорю на это:

– Дойдем до яров, сынок, ты беги, а я для видимости вслед тебе стрельну раза два...

И вот поди ж ты, малюсеньким был – и то слова ласкового, бывало, не добьешься, а тут кинулся ко мне и руки целует... Прошли мы с ним версты две, он молчит, и я молчу. Подошли к ярам, он приостановился.

– Ну, батя, давай попросаемся! Доведется живым остаться, до смерти буду тебя покоить, слова ты от меня грубого не услышишь...

Обнимает он меня, а у меня сердце кровью обливается.

– Беги, сынок! – говорю ему.

Побег он к ярам, все оглядывается и рукой мне махает.

Отпустил я его сажен на двадцать, потом винтовку снял, стал на колени, чтоб рука не дрогнула, и вдарил в него... в зад...

Микишара долго доставал кисет, долго высекал кресалом огня, закуривал, плямкая губами. В пригоршне рдел трут, на лице паромщика двигались скулы, а из-под напухших век косые глаза глядели жестко и нераскаянно.

– Ну вот... Подсигнул он вверх, сгоряча пробег сажен восемь, руками за живот хватается, ко мне обернулся:

– Батя, за что?! – И упал, ногами задрыгал.

Бегу к нему, нагнулся, а он глаза под лоб закатил, и на губах пузырями кровь. Я думал – помирает, но он сразу привстал и говорит, а сам руку мою рукой лапает:

– Батя, у меня ить дите и жена...

Голову уронил набок, опять упал. Пальцами зажимает ранку, но где же там... Кровь-то так сквозь пальцев и хлобыщет... Закряхтел, лег на спину, строго на меня глядит, а язык уж костенеет... Хочет что-то сказать, а сам все: «Батя... ба... ба... тя...» Слеза у меня пошла из глаз, и стал я ему говорить:

– Прими ты, Ванюшка, за меня мученский венец. У тебя – жена с дитем, а у меня их семеро по лавкам. Ежели б пустил я тебя – меня б убили казаки, дети по миру пошли бы христардничать...

Немного он полежал и помер, а руку мою в руке держит... Снял я с него шинель и ботинки, накрыл ему лицо утиркой и пошел назад в деревню...

Вот ты и рассуди нас, добрый человек! Я за детей за этих сколько горя перенес, седой волос всего обметал. Кусок им зарабатываю, ни днем ни ночью покою не вижу, а они... к примеру, хоть бы Наташка, дочь-то, и говорит: «Гребостно с вами, батя, за одним столом исть».

Как мне возможно это теперича переносить?

Свесив голову, глядит на меня паромщик Микишара тяжким, стоячим взглядом; за спиной его кучерявится мутный рассвет. На правом берегу, в черной копне кудлатых тополей, утиное кряканье переплетается с простуженным и сонным криком:

– Ми-ки-ша-ра-а! Шо-о-орт!.. Па-ром го-ни-и-и...

1925

Председатель Реввоенсовета республики

Республика наша не особо громадная – всего-навсего дворов с сотню, и помещается она от станицы верст за сорок по Топкой балке.

В республику она превзошла таким способом: на пробесне ворочаюсь я к родным куреням из армии товарища Буденного и выбирают меня граждане в председатели хутора за то, что имею два ордена Красного Знамени за свою доблестную храбрость под Врангелем, которые товарищ Буденный лично мне навешал и руку очень почтенно жал.

Заступил я на эту должность, и жили бы мы хутором на мирном положении, подобно всему народу, но вскорости в наших краях объявилась банда и присучилась наш хутор дотла разорять. Наедут, то коней заберут, дохлых шкапов в обмен покидают, то последний кормишко потравят.

Народишко вокруг нашего хутора паскудный, банде оказывают предпочтение и встречают ее хлебом-солью. Увидавши такое обращение соседних хуторов с бандой, созвал я на своем хуторе сход и говорю гражданам:

– Вы меня поставили в председатели?..

– Мы.

– Ну, так я от имени всех пролетарьят в хуторе прошу вас соблюдать свою автономию и в соседние хутора прекратить движение, затем что они – контры и нам с ними очень даже совестно одну стезжку топтать... А хутор наш теперича будет прозываться не хутором, а республикой, и я, будучи вами выбранный, назначаю себя председателем Реввоенсовета республики и объявляю осадное кругом положение.

Какие несознательные – помалкивают, а молодые казаки, побывавшие в Красноармии, сказали:

– В добрый час!.. Без голосования!..

Тут начал я им речь говорить:

– Давайте, товарищи, подсобим советской нашей власти и вступим с бандой в сражение до последней капли крови, потому что она есть гидра и в корне, подлюка, подгрызает всеобщую социализму!..

Старики, находясь позаду людей, сначала супротивничали, но я матерно их агитировал, и все со мной согласились, что советская власть есть мать наша кормилица и за ейный подол должны мы все категорически держаться.

Написали сходом бумагу в станишный исполком, чтоб выдали нам винтовки и патроны, и нарядили ехать в станицу меня и секлетаря Никона.

Раненько на зорьке запрягаю свою кобыленку, и едем. Верст десять покрыли, в лог съезжаем, и вижу я: ветер пыльцу схватывает по дороге, а за пылью пятеро верховых навстречу бегут.

Затосковало тут у меня в середке. Догадываюсь, что скачут злые враги из этой самой банды.

Никакой нициативы с секлетарем мы не придумали, да и придумать было невозможно: потому – степь кругом легла, до страмоты растелешенная, ни тебе кустика, ни тебе ярка либо балочки, – и остановили мы кобылу посередь путя...

Оружия при нас не было, и были мы безобидные, как спеленатое дитя, а скакать от конных было бы очень даже глупо.

Секлетарь мой – напужанный этими злыми врагами, и стало ему очень плохо. Вижу, прицеляется сигать с повозки и бечь! А куда бечь, и сам не знает. Говорю я ему:

– Ты, Никон, прищепи хвост и не рыпайся! Я председатель Ревсовета, а ты при мне секлетарь, то должны мы с тобой и смерть в куче принимать!..

Но он, как несознательный, сигнул с повозки и пошел шелкать по степу, то есть до тогошибко, что как будто и гончими не догнать, а на самом деле конные, увидавшие такое бегство по степу подозрительного гражданина, припустили за ним и вскорости настигли его возле кургашка.

Я благородно слез с повозки, проглотил все неподходящие бумаги и документы, гляжу, что оно дальше будет. Только вижу, поговорили они с ним очень немножко и, сгрудившись все вместе, зачали его рубать шашками крест-накрест. Вдарился он обземь, а они карманы его обшарили, повозились возле и обратно на коней, сыпят ко мне.

Я вижу, шутки шутками, а пора уж и хвост на сторону, но ничего не попишешь – жду. Подсказывают.

Попереды атаман ихний, Фомин по прозвищу. Залохмател весь рыжей бородой, физиономия в пыли, а сам собою зверский и глазами лупает.

– Ты самый Богатырев, председатель?

– Я.

– Переказывал я тебе председательство бросить?

– Слыхал про это...

– А почему не бросаешь?..

Задаёт он мне подобные подлые вопросы, но виду не подаёт, что гневается.

Вдарился я тут в отчаянность, потому – вижу, от такого кумпанства все одно головы на плечах не унесешь.

– Потому, – отвечаю перед ним, – что я у советской власти твердо стою на платформе, все программы до тонкости соблюдаю, и с платформы этой вы меня категорически не спихнете!..

Обругал он меня непотребными словами и плетюганом с усердием секанул по голове. Валою легла у меня через весь лоб чувствительная шишка, калибром вышла с матерый огурец, какие на семена бабы оставляют...

Поямал я эту шишку сквозь пальцев и говорю ему:

– Очень даже некрасиво вы зверствуете по причине вашей несознательности, но я сам Гражданскую войну сломал и беспощадно уничтожил тому подобных Врангелей, два ордена от советской власти имею, а вы для меня есть порожнее ничтожество, и я вас в упор не вижу!..

Тут он до трех раз разлетался, желал конем меня стоптать и плетью сек, но я остался непоколебимый на своих подстановках, как и вся наша пролетаровская власть, только конь копытом расшиб мне колено и в ушах от таких стычек гудел нехороший трезвон.

– Иди передом!..

Гонят они меня к кургашку, а возле того кургашка лежит мой Никон, весь кровью подплыл. Слез один из них с седла и обернул его кверху животом.

– Гляди, – говорит мне, – мы и тебя зараз поконовалим, как твоего секлетаря, ежели не отступишься от советской власти!..

Штаны и исподники у Никона были спущенные ниже, и половой вопрос весь шашками порубанный до безобразности. Больно мне стало глядеть на такое измывание, отвернулся, а Фомин ощеряется:

– Ты не вороти нос! Тебя в точности так оборудуем и хутор ваш закоснелый коммунистический ясным огнем запалим с четырех концов!..

Я на слова горячий, невтерпеж мне стало переносить, и отвечаю им очень жестоко:

– По мне пушай кукушка в леваде поплачет, а что касемо нашего хутора, то он не один, окромя его, по России их больше тыщи имеются!

Достал я кiset, высек огня кресалом, закурил, а Фомин коня поводьями трогает, на меня наезжает и говорит:

– Дай, браток, закурить! У тебя табачишко есть, а мы вторую неделю бедствуем, конский помет курим, а за это не будем мы тебя казнить, зарубим, как в честном бою, и семье твоей перекажем, чтоб забрали тебя похоронить... Да поживей, а то нам время не терпит!..

Я кисет-то в руке держу, и обидно мне стало до горечи, что табак, рощенный на моем огороде, и донник пахучий, на земле советской коханный, будут курить такие злостные паразиты. Глянул на них, а они все опасаются до крайности, что развею я по ветру табак. Протянул Фомин с седла руку за кисетом, а она у него в дрожание превзошла.

Но я так и сработал, вытряхнул на воздух табак и сказал:

– Убивайте, как промеж себя располагаете. Мне от казацкой шашки смерть принять, вам, голуби, беспрременно на колодезных журавлях резвиться, одна мода!..

Начали они меня очень хладнокровно рубать, и упал я на сыру землю. Фомин из нагана вдарил два раза, грудь мне и ногу прострелил, но тут услышал я со шляха:

Пуць!.. Пуць!..

Пули заюжали круг нас, по бурьянку шуршат. Смелись мои убивцы и – ходу. Вижу, по шляху милиция станишная пылит. Вскочил я сторяча, пробег сажень пятнадцать, а кровь глаза застит и кругом-кругом из-под ног катится земля.

Помню, закричал:

– Братцы, товарищи, не дайте пропасть!

И потух в глазах белый свет...

Два месяца пролежал колодой, язык отнялся, память отшибло. Пришел в самочувствие – лап, а левая нога в отсутствии: отрезана по причине антонова огня.

Возвернулся домой из окружной больницы, чикиляю как-то на костыле возле завалинки, а во двор едет станишный военком и, не здороваясь, допрашивается:

– Ты почему прозывался председателем Реввоенсовета и республику объявил на хуторе? Ты знаешь, что у нас одна республика? По какой причине автономию заводил?!

Только я ему на это очень даже ответил:

– Прошу вас, товарищ, тут не сурьезничать, а за счет республики могу объяснять: была она по случаю банды, а теперича, при мирном обхождении, называется хутором Топчанским. Но поймите себе в виду: ежели на советскую власть обратно получится нападение белых гидров и прочих сволочей, то мы из каждого хутора сумеемся сделать крепость и республику, стариков и парнишек на коней посажаем, и я хотя и потерявши одну ногу, а первый категорически пойду проливать кровь.

Нечем ему было супротив меня крыть, и, руку мне пожавши очень крепко, уехал он тем следом обратно.

1925

Кривая стежка

Как будто совсем недавно была Нюрка неуклюжей, разлапистой девчонкой. Ходила вразвалку, косо переступая ногами, нескладно помахивала длинными руками; при встрече с чужими сторонилась и глядела из-под платка чернявыми глазами смущенно и диковато. А теперь перешла Ваське дорогу статная грудастая девка, на ходу глянула прямо, чуть-чуть улыбочиво, и словно ветром теплым весенним пахнуло Ваське в лицо.

На миг зажмурился, потом глянул вслед, проводил глазами до поворота и тронул коня рысью. Уже на водопое, разнуздывая коня, улыбнулся, вспоминая встречу. Почему-то стояли перед глазами Нюркины руки, уверенно и мягко обнимающие цветастое коромысло, и зеленые ведра, качающиеся в такт шагам. С этой поры искал встречи с ней, к речке ездил нарочно по крайней улице, где был двор Нюркиного отца, и когда видел ее за плетнем или в просвете окна, то радость тепло тлела в груди; натягивал поводья, стараясь замедлить лошадиный шаг.

На той неделе в пятницу поехал на луг верхом – поглядеть на сено. После дождя дымилось оно и сладко пахло прелью. Возле Авдеевых копен увидел Нюрку. Шла она, подобрыв подол юбки, хворостиной помахивала. Подъехал.

– Здорово, красавица!

– Здорово, коль не шутишь. – И улыбнулась.

Соскочил с коня Васька, поводья бросил.

– Чего ищешь, Нюра?

– Телок запропастился... Не видал ли где?

– Табун давно прошел в станицу, а вашего телка не примечал.

Достал кисет, свернул козью ножку. Слюнявя газетный клочок, спросил:

– Когда ты успела, девка, вымахать такой здоровой? Давно ли в пятишки на песке игралась, а теперь – ишь...

Улыбкой прижмурились Нюркины глаза. Ответила:

– Что нам делается, Василий Тимофеевич. Вот и ты вроде как недавно без штанов бегал в степь скворцов сымать, а теперь уж в хате небось головой за перекладину цепляешься...

– Что ж замуж-то не выходишь? – Зажег Васька спичку, чадно дымнул самосадом.

Нюрка вздохнула шутливо, руками сокрушенно развела:

– Женихов нету!

– А я чем же не жених? – хотел улыбнуться Васька, но улыбка вышла кривая и ненужная. Вспомнил, каким выглядел он в зеркале: щеки, густо изрытые давнишней оспой, чуб курчавый, разбойничий, низко упавший на лоб.

– Рябоват вот ты маленечко, а то бы всем ничего...

– С лица тебе не воду пить... – багровея, уронил Васька.

Нюрка улыбнулась чуть приметно, помахивая хворостиной, сказала:

– И то справедливо!.. Что ж, ежели нравлюсь – сватов засылай.

Повернулась и пошла к станице, а Васька долго сидел под копною, растирал промеж ладоней приторную листву любистка, думал: «Смеется, стерва, аль нет?»

От речки, из лесу, потянуло знобким холодком.

Туман, низко пригибаясь, вился над скошенной травой, лапал пухлыми седыми щупальцами колючие стебли, по-бабьи кутал курившиеся паром копны. За тремя тополями, куда зашло на ночь солнце, небо цвело шиповником, и крутые вздыбленные облака казались увядшими лепестками.

* * *

У Васьки семья – мать да сестра. Хата на краю станицы крепко и осанисто выросла в землю, подворье небольшое. Лошадь с коровой – вот и все имущество. Бедно жил отец Васьки.

Вот поэтому-то в воскресенье, покрываясь цветной в разводах шалью, сказала мать Ваське:

– Я, сыночек, не прочь. Нюрка – девка работающая и собой не глупая, только живем мы бедно, не отдаст ее за тебя отец... Знаешь, какой норов у Осипа?

Васька, надевая сапоги, промолчал, лишь щеки набухли краской. То ли от натуги (сапог больно тесен), то ли еще от чего.

Мать кончиком шали вытерла сухие, бледные губы, сказала:

– Я схожу, Вася, к Осипу, но ить страма будет, коль с крылечка выставят сваху. Смеяться по станице будут... – Помолчала, не глядя на Ваську, шепнула: – Ну, я пойду.

– Иди, мамаша. – Васька встал и вяло улыбнулся.

* * *

Рукавом вытирая лоб, покрывшийся липким и теплым потом, мать Васьки сказала:

– У вас, Осип Максимович, товар, а у нас покупатель есть... Из-за этого и пришла... Как вы можете рассудить это?

Осип, сидевший на лавке, покрутил бороду и, сдувая с лавки пыль, проговорил:

– Видишь, какое дело, Тимофеевна... Я бы, может, и не прочь... Василий, он – парень для нашего хозяйства подходящий. А только выдавать мы свою девку не будем... рано ей невеститься... Ребят-то нарожать – дело немудрое!..

– Тогда уж извиняйте за беспокойствие! – Васькина мать поджала губы и, вставая с сундука, поклонилась.

– Беспокойствие пустяшное... Что ж спешишь, Тимофеевна? Может, пополудновала бы с нами?

– Нет уж... домой поспешать надо... Прощайте, Осип Максимович!..

– С богом, проваливай! – вслед хлопнувшей двери, не вставая, буркнул хозяин.

С надворья вошла Нюркина мать. Насыпая на сковородку подсолнечных семечек, спросила:

– Что приходила-то Тимофеевна?

Осип выругался и сплюнул:

– За своо рябого приходила сватать... Туда же, гнида вонючая, куда и люди!.. Нехай рубит дерево по себе!.. Тоже свашенька, – и рукой махнул, – горе!..

* * *

Кончилась уборка хлебов. Гумна, рыжие и лохматые от скирдов немолоченого жита, глядели из-за плетней выжидающе. Хозяев ждали с молотьбой, с работой, с зубарями, орущими возле молотильных машин хрипло и надсадно:

– Давай!.. Давай... Да-ва-а-ай!..

Осень приползла в дождях, в пасмурной мгле.

По утрам степь, как лошадь коростой, покрывалась туманом. Солнце, конфузливо мелькавшее за тучами, казалось жалким и беспомощным. Лишь леса, не зажженные жарою, самодовольно шелестели листьями, зелеными и упругими, как весной.

Часто один за другим длинной вереницей в скользком в противном тумане шли дожди. Дикие гуси почему-то летели с востока на запад, а скирды, осунувшиеся и покрытые коричневой прелью, похожи были на захворавшего человека.

В предосенней дреме замирала непаханая земля. Луга цветисто зеленели отавой, но блеск их был обманчив, как румянец на щеках изъеденного чахоткой.

Лишь у Васьки буйным чертополохом цвела радость – оттого что каждый день видел Нюрку: то у речки встретится, то вечером на игрищах. Поглупел парень, высох весь, работа в руках не держится...

И вот тут-то, днем осенним и хмарным, как-то перед вечером гармошка, раньше хныкавшая и скулившая щенком безродным, вдруг загорланила разухабисто, смехом захлебнулась...

К Ваське во двор прибежал Гришка, секретарь станичной комсомольской ячейки. Увидал его – руками машет, а улыбка обе щеки распахала пополам.

– Ты чего щеришься, железку, должно, нашел? – поддел Васька.

– Брось, дурило!.. Какая там железка... – Дух перевел, выпалил: – Нашему году в армию идти!.. На призыв через три дня!..

Ваську как колом кто по голове ломанул. Первой мыслью было: «А Нюрка как же?» Потер рукой лоб, спросил глухо:

– Чему же ты возрадовался?

Гришка брови до самых волос поднял:

– А как же? Пойдем в армию, чудак, белый свет увидим, а тут, окромя навоза, какое есть удовольствие?.. А там, брат, в армии – ученье...

Васька круто повернулся и пошел на гумно, низко повесив голову, не оглядываясь...

* * *

Ночью возле лаза через плетень в Осипов сад ждал Васька Нюрку. Пришла она поздно. Зябко куталась в отцовский зипун. Подрагивала от ночной сырости.

Заглянул Васька в глаза ей, ничего не увидел. Казалось, не было глаз, и в темных порожних глазницах чернела пустота.

– Мне на службу идтить, Нюра...

– Слыхала.

– Ну, а как же ты?.. Будешь ждать меня, замуж за другого не выйдешь?..

Засмеялась Нюра тихоньким смешком; голос и смех показались Ваське чужими, незнакомыми.

– Я тебе говорила раньше, что на отца с матерью не погляжу, пойду за тебя, и пошла бы... Но теперь не пойду!.. Два года ждать – это не шуточка!.. Ты там, может, городскую сыщешь, а я буду в девках сидеть? Нету дур теперь!.. Попроси другую, может, и найдется какая, подождет...

Заикаясь и дергая головой, долго говорил Васька. Упрашивал, уверял, божился, но Нюрка с хрустом ломала в руках сухую ветку и твердо кидала Ваське в ответ одно скупое, черствое слово:

– Нет! Нет!

Под конец, озлобившись, дыша обрывисто, крикнул Васька:

– Ну ладно, стерва!.. Мне не достанешься, а другому и подавно! А ежели выйдешь за другого – рук моих не минуешь!

– Руки-то тебе короткими сделают, не достанешь!.. – пыхнула Нюрка.

– Как-нибудь дотянусь!..

Не прощаясь, прыгнул Васька через плетень и пошел по саду, затаптывая в грязь желтые опавшие листья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.